

Наталия Кочелаева Проклятие обреченных



Пятнадцать лет поселок Янранай благоденствовал – всего у жителей было вдоволь, миновали их и болезни. Берегла всех от печалей и бед Анипа – дочь шамана Акмаля. Трагедия произошла позже, когда девушка стала женой Сергея Гордеева и ждала от него ребенка. Муж оставил ее. Стерпеть великой обиды, нанесенной его семье, шаман-отец не смог и проклял род Гордеева. Теперь каждый из его потомков в одиночку должен победить силу старинного проклятия...

*Посвящается моим родителям, Коче-лаевой Татьяне Васильевне
и Кочелаеву Александру Васильевичу. Спасибо*

Глава 1

Широкий нож с тусклым плоским лезвием, с рукояткой из моржового клыка. Птицы на рукоятки застыли в вечном полете – никогда не добраться им до виднеющихся вдали, в наивной перспективе изображенных горных вершин. На языке людей Севера этот нож называется улык.

Улык – женский нож. В суровом краю, где полгода – ночь, где девять месяцев зима вынашивает тщедушное, чуть живое дитя-лето, в жилищах, пропахших приторно-прогорклым моржовым жиром, вещи испокон веков делятся на женские и мужские. Никто из мужчин не смеет коснуться вещи, принадлежащей женщине, никто не

смеет коснуться священного *улыка*, передается он от матери к дочери, из одних рук, исколотых иглами, темных и шершавых, переходит в другие, юные, которым еще только суждено потемнеть от работы. Священным *улыком* рассекают пуповину новорожденной девочке, им же отрезают прядь из кос матери, чтобы пуповину перевязать. Вот она, настоящая связь поколений, – волосы матери обвивают пуповину дочери, дочь подрастает, и вот уже ее волосы перехватывают пуповину новорожденной... И так без конца.

Когда прекрасная Гэльгана, жена охотника Акмаля, жившего в селении Янранай, почувствовала движение жизни в себе, она наточила свой *улык* (птицы на рукоятке застыли в вечном движении) и положила его в левый карман своего *кэркэра* – комбинезона из оленьей кожи, чтобы родился мальчик. Она не лакомила прохладно-сладкой ягодой шикшей, что осенью в изобилии высыпала на пригорках, и не прикасалась к жирным *канаельгынам*, головастым бычкам, которых ловили в лагуне мальчишки. Всем известно, если женщина съест шикшу или бычка, то у нее родится девочка. Блюла она и другие, завещанные предками, перетекшие к ней по пуповине, запреты и правила: не ела сердца животного, чтобы будущий охотник не вырос трусом; отказывалась от гагачьих яиц, чтобы младенец не был плаксивым, – ведь крик гаги похож на детский плач, да и как ей не плакать, этой глупой птице, избравшей в отчизну бесприютные, ветреные сопки! На всякий случай отказывалась и от крабов: ведь если родится девочка, то уродство краба может передаться и ей, и ходить она будет боком... Зато с удовольствием поедала желто-зеленые, упругие стебли ламинарии, выброшенные морем... Они пахли как кровь. Они пахли как жизнь. Как сила. Ребенку нужны кровь и сила, чтобы жить.

Ближе к родам Акмаль прибил к потолочным балкам яранги два ремня из сырой нерпичьей кожи. Гэльгана будет держаться за концы ремней, тянуть за них, когда придет схватка, и это поможет ей. Вот и вся подготовка к родам, но ведь люди Севера издревле появлялись на свет так, и только так! Женщины опрастывались легко, словно моржихи, сохраняя и в потугах невозмутимое выражение лица, порой даже не выпуская из зубов трубки. А на следующий день уже принимались за обычные дела, суровые дела северных женщин.

Но Гэльгана боялась рожать. Она не была молода. Ей пора было бы уже принимать роды у своей дочери, но дочь опоздала явиться на свет. Долго у них с Акмалем не было детей, он обижался на жену и грозил привести в ярангу еще одну, молодую и здоровую женщину, чтобы та родила ему сына. Но он не бил Гэльгану и верил, что дети еще родятся недаром же он перетаскал шаману Ненлюму множество песцовых шкур, табаку и сахара – пусть шаман выпросит у духов хоть одного ребенка для Акмаля! Но Ненлюм был стар, глуп и глух. Он принимал дары, вяло топтался с бубном вокруг костра, осипшим голосом выкрикивая бессвязные слова, а потом приказывал просителю:

– Ступай в свою ярангу. Духи сказали мне: не пройдет и года, как в ней закричит ребенок.

Но духи обманывали шамана, или сам Ненлюм так уже устал и насытился годами, что не понимал их слов.

Теперь Акмаль был рад. Он радовался сам и приказывал радоваться Гэльгане. Ее страх казался ему смешным. А зима в поселке выдалась голодная. Летом шторма отогнали моржей от берега, мяса добыли мало. Быстро подъели запасы, опустели *уврэны* – глубокие ямы, в которые сваливали и хранили годами туши нерп и лахтаков, а также и *копальхен* – рулет из моржового мяса и кожи. На дне *уврэна* к весне остается жижа из жира, смешавшаяся с землей, в ней порой попадают и целые куски мяса. В бедных ярангах уже в середине зимы варили эту жижу и ели пополам со слезами. Но Акмаль был лучшим охотником и никогда не возвращался с охоты с пустыми руками, приносил хоть что-то, хоть кусок обглоданной медведем нерпушки. Он запас немало вяленого мяса. А Гэльгана, не обремененная детьми и большой семьей, могла больше времени, чем другие женщины, посвящать сбору корешков и зелени. У Акмаля в яранге осталась и настойка *нунивака*, родиолы розовой, спасающей людей Севера от цинги, и сухие стебельки дикого лука, и сладкие корни. Все жители поселка

придут встречать маленького гостя – он прибудет из неведомых краев в жилище Акмаля, и всех надо будет накормить, и каждого оделить подарком, если даже ради этого придется снять последнюю шкуру с яранги. Таков незыблемый порядок.

Но все происходит иначе. Старуха Инным, мать роженицы, плачет у входа в *чоттагын*¹, крупные слезы наводняют высохшие русла ее морщин, мучительное горе заставляет ее скалиться сгнившими корешками зубов, голова мелко трясется. Гэльгана боялась не зря. Гэльгана была уже стара для того, чтобы родить ребенка. Орган, природой предназначенный для того, чтобы вынашивать дитя, стал у нее сухим и хрупким, будто прошлогодняя трава, и ребенок, пробивая себе дорогу на свет, разрушил что-то в матери. Гэльгана изошла кровью – черной в полутьме яранги, пахнувшей морскими водорослями кровью. Она умерла раньше, чем Инным перевязала ребенку пуповину прядью ее волос (в прядь затесался один седой волос, недобрый знак!) – и стала окуривать дымом тундрового мха. Она даже не успела узнать, что произвела на свет девочку, не успела понять, что умирает. Быть может, это и к лучшему – иначе она попала бы к духам предков с беспокойной душой, сетуя на свою долю, и ей нелегко было бы уходить...

Акмаль принял смерть жены примиренно-спокойно, как и должно ему. Но что будет с новорожденной? Кто вскормит ее? Кто будет заботиться о ней, пока она не окрепнет? Старуха Инным припомнила, что как-то потерявшего мать младенца выкормили разбавленным молоком оленьей матки. Но стойбище оленеводов ушло с побережья далеко в тундру, до них шесть дней пути, и если и найдется там подходящая оленья матка, то девочка может не дожидаться молока.

Женщины Севера подолгу кормят детей своим молоком – пока не сравняется пять, а то и шесть весен, отнимают от груди раньше лишь тогда, когда родятся новые дети. Когда к одной груди присосался двухмесячный, к другой – двухлетний, тогда пятилетнему места уж нет. В Янранае было несколько кормящих матерей, любая из них могла бы помочь дочери Акмаля, но скудная зима иссушила их живые источники, ни у одной не было молока, и их дети плакали от голода.

– Видно, девочке суждено уйти вслед за матерью, – высказалась Инным.

Гэльгану одели в лучшую одежду, накрыли пыжиковым одеялом и положили на нарты. Дряхлый шаман, стараясь, чтобы голос звучал громко и слова были отчетливы, задавал уходящей вопросы, а женщины двигали нарты по снегу. Если полозья скользят легко – это значило «да», а если идут тяжело, заедают – «нет».

– Со спокойным ли сердцем покидаешь ты наш мир? Хороша ли будет охота в этом году? Хочешь ли ты быть похоронена там, где лежит твой отец?

И нарты скользили легко. Лишь когда Ненлюм спросил: «Суждено ли твоей дочери уйти вслед за тобой?» – сани встали как вкопанные, и три женщины, как ни старались, не могли сдвинуть их с места.

Гэльгану отвезли к подножию горы Ниньэннай, где был похоронен ее отец, раздели и нагую положили на землю. Теперь полагалось разрезать всю ее одежду на лоскуты, разбить и сломать все то, что покойнице полагалось взять в дальнюю дорогу: фарфоровую чашку, трубку, нож для кройки и кисет из бересты – затем, если покойнице вздумается вдруг вернуться, ей бы пришлось сначала сшить свои одежды и починить весь скарб. А починив, она уже забудет дорогу назад и пойдет в селения духов, куда ей и следует.

Потом они собрали камни и обложили ими ушедшую. И пошли в поселок, очень довольные собой, потому что люди Севера живут не чувствами, а обычаями, а теперь обычай был соблюден и все сделано как надо. А наутро поселок разбудил горестный вопль Акмаля. Выглянув из яранги, увидел он на снегу знакомые длинные косы...

Оголодавшие за зиму собаки отгрызли прекрасной Гэльгане голову и принесли ее к родной яранге.

¹ Чоттагын – холодная часть яранги, нечто вроде прихожей.

Тогда Акмаль взял голову любимой жены, завернул ее в кусок оленьей шкуры и отнес обратно, на место ее упокоения.

Но вернулся он другим, не тем веселым и удачливым охотником, который плясал лучше всех, больше всех ел и побеждал молодых парней на борцовских состязаниях. Его черная голова в одночасье побелела, словно покрылась инеем. Он вернулся в ярангу, где заходилась криком безымянная пока девочка, и взял в руки бубен. До самого утра жители поселка слушали песни, каких сроду никто не слышал, и жуть брала от них такая, что даже собаки замолчали и не выли и северное сияние, показывавшее покойнице путь в селения духов, съезжилось, выцвело и погасло.

А на другой день, когда соплеменники пришли в ярангу Акмаля, он встретил их спокойный и сказал, что стал шаманом. Так горевал он по жене, что отчаяние помогло ему найти тропинку в незримый мир, где живут боги, и духи, и души умерших. Теперь он будет помогать жителям Янраная, будет врачевать их от болезней, предсказывать погоду и помогать в охоте. И янранайцы обрадовались, потому что Ненлюм был совсем плох, и от старости уже поглупел, и разучился камлать, и глаза его стали слепы, как камни на морском берегу, и подернулись бельмами, как солью. Были и такие, что сомневались, они-то и спросили у Акмаля: почему не плачет больше его дочь? Уж не сделал ли он из нее *ныкат*, жертву богам?

Но Акмаль тогда показал им девочку, что спокойно спала на ложе из пыжика. Его жена, сказал он, прекрасная Гэльгана, прилетала ночью в его ярангу, обернувшись полярной совой, и кормила девочку грудью. Теперь она будет прилетать каждую ночь – он, Акмаль, вызвал ее из страны духов. Гэльгану можно видеть, она стала еще прекрасней, чем раньше, но прикасаться к ней нельзя, иначе она исчезнет, как дым под пологом яранги.

Тогда все ему поверили, ведь девочка, которую стали называть Анипой, полярной совой, росла и крепла на глазах. Сытенькая девочка с мягким черепом, с полулунами черных глаз, с жестким черным подшерстком, как у щенка лайки, – она принесла удачу всему поселку. Ради нее шаман Акмаль, склонившись к просьбам янранайцев, воззвал к богам и вымолил у них большую добычу. Он камлал день и ночь, а утром сказал соплеменникам: «Бегите к морю и ждите».

Охотники кинулись к морю и в створе бухты, в спокойной воде, увидели фонтан кита.

Через несколько минут над бухтой стлался пороховой дым и раздавалась канонада выстрелов – стреляли из американских винчестеров. Раньше, в прошлые времена, кита приходилось убивать гарпунами, а это было небезопасно, и удавалось не всегда. Теперь же гарпунами только метят кита и прикрепляют к нему кожаные поплавки, чтоб не гадать, где он вынырнет, а потом в упор расстреливают беззащитного великана, как предателя на войне...

Кита подвели поближе к берегу и разделявали прямо в воде. Люди обжирались *мантаком* – китовой кожей с жиром. Галька на берегу стала скользкой от жира и крови. Лица у всех лоснились, глаза мутнели, мужчины, женщины и дети хмелели от долгожданного ощущения тяжести в желудке. Только Акмаль не принимал участия в разделке добычи, он прохаживался поодаль, словно радушный хозяин, до отвала накормивший гостей.

Через двое суток на берегу остались только оголенные огромные ребра – издали они были как недостроенная яранга великана. Вокруг горели костры, сытые люди сидели у огня, и шаман Акмаль совершал *ныкат* – обряд жертвоприношения. Он благодарил морских богов, китовое племя, которое помогло своим сыновьям. Ведь, по старинной легенде, племя морских охотников произошло от женщины и полюбившего ее кита... Когда-то, давным-давно, в этих краях жила красавица – дочь белого ледяного моря. Однажды, в светлую летнюю ночь, она гуляла по берегу, ее увидел кит и влюбился в нее. Он подплыл поближе, чтобы лучше рассмотреть свою милую, и едва коснулся прибрежных камней, как превратился в прекрасного юношу. Влюбленные стали встречаться каждую ночь, а утром юноша спешил на берег, и как только его роскошные торбаса, расшитые красавицей,

омывала волна, он снова оборачивался китом. Женщина родила от мужа-кита несколько китят и человеческих сынов. Сыновья подросли, охотились в море, но мать настрого запретила им трогать китов. Шло время. Женщина состарилась, сыновья ее взяли себе жен из племен, находившихся далеко на юге. Однажды, когда в море было мало моржа и тюленя, сыновья женщины загарпунили кита: они не понимали, почему их мать запрещает убивать китов, в каждом из которых целая гора вкусного жира и мяса! Утром женщина вышла из яранги и увидела на берегу голову своего мужа-кита. Она бранила своих сынов, и открыла им тайну их рождения, и чуть не лишилась рассудка от горя. Но ночью, во сне, ей явился дух ее мужа и разрешил своим потомкам-людям охотиться на китов, чтобы их тяжелая жизнь стала хоть немного легче...

Пятнадцать лет поселок Янранай благоденствовал. Ни разу больше не случилось там голода, миновали жителей и болезни. Эпидемия, завезенная моряками с японской шхуны, обошла все побережье, а янранайцев не коснулась. Умирили только дряхлые старики, и даже растяпа Камтын, которого сильно помял *умка*, похворал-похворал, а потом выздоровел, только стал крив на один бок. Боги прислушивались к шаману, духи послушно являлись на его зов, хотя он пил настойки гриба *вапак* и не курил травы *кахтх*, которая растет в двух мирах разом, в мире живых и в мире мертвых.

Шаман вымолил у богов большую удачу – неподалеку, на мысе Касан, расположилось лежбище моржей. Год за годом флегматичные животные приходили на одно и то же место, словно не замечая того, что бьют их и охотники, и белые медведи. А на остатки медвежьего пиршества из тундры приходили песцы.

Впрочем, Акмаль настрого запрещал бить моржей сверх необходимого.

«Боги разгневаются», – предупреждал он соплеменников.

Боги гневались и тогда, когда охотники льстили на предложения торговцев, меняли ценный моржовый бивень и песцовые шкурки на вонючий спирт и перепивались до полусмерти. Позволялось менять товар на винчестеры и патроны, на стальные ножи, яркие ткани, на чай и табак, на муку, белую как снег, и на белоснежный сахар, сверкающий как наст... В поселке пили мало водки, зато все были сыты, веселы, хорошо одеты. Здешные невесты ценились по всему побережью, и даже из-за холмов приходили тундровые люди, чтобы взять себе в жены здоровую и веселую девушку из Янраная, хотя обычно оленеводы презирали *кемыльгынов* – приморских жителей.

И лучше всех Анипа, дочь шамана Акмаля. У нее косы доходят до земли. Стан ее строен, запястья тонки. От ее бледного лица охота зажмуриться, как от слишком яркого, добела раскаленного летнего солнца. У Анипы в глазах печаль, у Анипы тень от ресниц падает на щеки, длинную шею обвивают бусы в семьдесят рядов. От Анипы не пахнет ни жиром, ни дымом – телу девочки присущ тонкий аромат свежевыпавшего снега и цветов, тех желтых и алых цветов, что весной расцветают в тундре. Злые янранайские псы скулят как щенки, когда видят Анипу, и готовы ползти за ней на брюхе в какую угодно даль.

Она носит праздничную одежду даже в будни, потому что не работает по дому, и не знает никакого труда. Она не носит воду, не готовит пищу, не умеет разжигать огня и не знает, как держать в руках *выквэпойгын*² Анипа только искусно вышивает бисером и оленьим волосом, ее работы ценятся по всему побережью, хотя порой она изображает невиданных животных, вещи, предназначения которых не знает никто, и места, где никто не бывал. Говорят, что ее покойная мать все так же навещает дочь и порой забирает ее с собой, чтобы показать иные, удивительные миры. Говорят, от этих путешествий Анипа устает так, что не может делать обычной работы и не может даже расчесать себе волосы. Косы ей чешет и заплетает мачеха, глухонемая Экла.

Акмаль женился во второй раз, когда Анипе сравнялось пять весен. За шаманом послали из дальнего поселка – охотник повредил на охоте ногу, нога, вместо того чтобы

² В ы к в э п о й г ы н – орудие для обработки шкур.

зажить, вся почернела. Охотник сутки напролет кричит от боли, и тело его горит, словно в огне.

Шаман не хотел ехать. Шаман знал, что вылечить эту болезнь не в его силах. Но маленькая Анипа вышла из яранги и толкнула отца в спину. Шаман посмотрел на дочь, посмотрел на посланного и сел в нарты. Когда он приехал, охотник уже умер, оставив после себя вдову. Шаман забрал ее с собой в Янранай. Звали вдову Экла, что значило «найденная», она была доброй и трудолюбивой женщиной, но глухонемой. Акмаль вез женщину в свой дом, а сам все думал: как-то примет ее дочь? Но Анипа встретила их у порога, взяла мачеху за руку и ввела в *чоттангин*. Экла растроганно мычала и гладила девочку по голове – она уже готова была служить ей всей своей необласканной душой, темным сердцем, древней кровью.

Экла делала все по хозяйству, и каждый год рожала детей, которых, кажется, любила меньше, чем падчерицу, а Анипа только вышивала бисером да ходила на морской берег, все смотрела вдаль. Отец ее говорил, что она станет великой шаманкой и еще – что она мечтает о дальних, прекрасных краях, где круглый год светит солнце и растут деревья, где все люди, как она, белы лицом и пахнут цветами. Она выросла странной девушкой, и многие люди говорили, что ее тень на закате не имеет вида человеческой тени, а кажется как бы тенью огромной птицы. И к ней, несмотря на богатство ее уважаемого отца, не сватались молодые охотники – то ли боялись ее, вскормленную молоком мертвой матери, боялись ее птичьей тени, то ли не хотели себе жены, которая ничего не умеет делать... А Анипа вовсе не грустила об этом, и ни в ком не нуждалась, и любила только вышивать диковинные, чужие узоры бисером и оленьим волосом да сидеть в одиночестве у моря...

Между тем времена стали меняться. В поселок пришла советская власть, появилось много белых людей. Выстроили магазин, школу для детей, метеостанцию, установили новые порядки. Большевицкая власть недолго любила шаманов. Говорили, что в других поселках и стойбищах коммунисты отбирали у местных жителей бубны и изображения домашних божков, запрещали шаманам камлать и делать *ныкат* ... Но янранайцам и тут повезло – начальником к ним назначили человека по имени Иванчук.

Иванчук с уважением относился к древним обычаям. Иванчук даже прислушивался к советам Акмаля и вскоре, убедившись, что он всегда бывает прав, сделал его своим помощником. Анипу отдали в школу, но она, едва выучившись грамоте и счету, убежала оттуда и снова бродила в одиночестве по морскому берегу...

Потом Иванчук чем-то не угодил большим властям на материке, и его забрали обратно, а в Янранай прислали нового начальника. Это был совсем молодой парень с целой копной волос на голове. Его имя было Гордеев, и начал он с того, что взял в свой дом Анипу, дочь шамана. Он ведь не знал, что она вскормлена мертвой матерью и что тень у нее не человеческая, а птичья. Он встретил ее на морском берегу и заговорил с ней ласково, а она отворачивала лицо, но видно было, что она улыбается – на щеках играли и переливались ямочки. Тогда Гордеев взял ее за руку и привел в магазин, где велел выбирать все, что она захочет, – он, мол, все готов ей подарить. Анипа качала головой, но он все же купил ей зеркальце в богатой оправе, и яркой ткани на платье, и самую дорогую вещь, которая продавалась в магазине, которой не было даже в яранге шамана, – патефон.

Тем вечером в яранге Акмаля громко играла русская музыка. Сразу много голосов выпевали смутно понятные, грустные слова:

Дан приказ: ему на запад,
Ей в другую сторону...

Шаман прихлебывал чай с блюдечка, звучно кусал сахар и пристально смотрел на дочь. – Этот новый начальник красив и молод. И он щедр на подарки. По душе ли он тебе?

Анипа молчала, только на щеках переливались ямочки, но шаману и не требовался ее ответ.

– Знаю, ты мечтаешь изменить предназначенную тебе участь. Я знаю твою душу так же хорошо, как свою правую руку. Ты могла бы стать великой шаманкой, проникнуть не только в тайны этого мира, но и в тайны других миров – а их так же много, как много бывает на небе звезд. Ты знаешь об этом лучше меня... Ты могла бы прожить много, много жизней... но ты избрала удел смертной женщины. Что ж, ступай, приходи женой в дом этого русского. Я буду просить богов о милости для вас обоих.

Через неделю Гордеев пришел за ней и увел жить в свой деревянный дом. И она безмолвно пошла за ним, потому что полюбила его так, как никогда не любила свое бисерное рукоделие и даже море. Она повсюду молча ходила за ним и непрестанно ласкалась к нему, потеряв ту сдержанность, что отличает женщин ее народа. И он, казалось, тоже любил ее, и все в поселке довольны были тем, что новый начальник сразу же взял в жены местную девушку, таким образом сам став ближе к людям Севера.

Гордеев и правда стал своим человеком. Он много одолжений сделал поселковым жителям. К примеру, установил у себя в доме специальный аппарат для производства жгучей воды и понемногу продавал ее поселковым, причем соглашался отпускать напиток в долг, и все записывал в специальную тетрабочку. Однажды в поселок привезли испорченные продукты – подмоченную муку и вздувшиеся консервы. Гордеев сообщил куда надо, и пришел приказ продукты списать. Янранайцы заволновались. Они уже знали, что «списать» – значит вывалить в большую яму и закопать. К чему так кидаться пищей? Они пришли к начальнику и предложили заплатить ему за испорченную, по мнению Гордеева, еду. Гордеев вполне согласился с местными и обменял им несколько ящиков консервов на песцовые шкурки. Мука же нужна была ему самому, ею он откармливал свиней, которых привез с материка, – диких и грязных животных, мясом которых чукчи брезговали.

Акмаль предостерегал и зятя, и соплеменников, но те легкомысленно отмахивались. Отчего нельзя есть эти консервы, пусть даже они выглядят не так, как обычно? Что с них будет?

И правда, ничего не было – только некоторые захворали животами, но Акмаль помог больным, и никто не умер.

Анипа ждала ребенка. С недавних пор она зачастила в ярангу к отцу, где подолгу говорила и с ним, и с мачехой Эклой. Она говорила, что боится рожать, боится, что умрет от родов, как ее мать. И в то же время ей хотелось произвести на свет сына. Интересно, говорила она, на кого будет он похож, на чукчу или на русского? Или черты разных народов смешаются в нем, как в речи самой Анипы мешаются сейчас русские и чукотские слова? Она даст мальчику русское имя – Коля, Иван или Григорий.

Так говорила она, и с грустью слушал Акмаль свою дочь, и кивала глухонемая Экла.

Наступило лето, пришел пароход, и вот жители поселка увидели, что муж Анипы всходит на его борт со всем своим добром и с песцовыми шкурками, утянутыми в узелок. Все пришли в недоумение, потому что Анипа осталась на берегу. Но быть может, Гордеев еще вернется за женой и ребенком или она сама поедет за ним через некоторое время? Недаром он так долго говорил ей что-то у трапа. А когда пароход растаял в тумане и провожавшие стали расходиться по домам, все увидели, что Анипа лежит поодаль на гальке ни жива ни мертва. Были люди, которые слышали, что говорил Гордеев жене, они говорили так:

– По новому закону она и женой ему не считается. Он оставил ее, потому что хочет жить в большом городе, в роскошном доме, а она ему не подходит. Он поедет на родину и женится на богатой и образованной женщине.

Анипу отнесли в ярангу к ее отцу и рассказали ему все. Удивился Акмаль:

– Разве моя дочь – не пара русскому? Разве она не красива, разве не любила его, как положено жене? Разве она не чинила его одежду, не готовила пищу, разве разгневала домашних богов? Разве она не носит его ребенка? Что ж видно, ему надо другого. Он ищет богатства и знатного родства. Он жадный и дурной человек, он лжет, как все белые люди.

Анипа родила девочку. Но она не хотела взглянуть на ребенка, не хотела приложить его

к груди, не пила и не ела, а только лежала вниз лицом и плакала.

А великий шаман Акмаль обиделся на русского начальника и вздумал наслать на него страшный *уйвэл* ³.

В ту ночь снова не спал поселок, снова слышались из яранги шамана навевающие жуть песни, и тосковало сердце у того, кто мог разобрать слова:

А-хай! Кэй-ко-кэй-ко-ахх!
Воззрите на меня, о боги!
Злой человек, пришлый чужак, обидел меня!
Обидел мою дочь и дочь моей дочери!
Кровь ее горит от тоски, и ноет сердце.
Покарайте его, о боги!
Пусть не будет ему ни дня, ни ночи!
Пусть пища ему будет горька, а вода не утоляет жажды!
Пусть злые духи кэле вцепятся в тело его!
Пусть жизнь его будет жалкой, а смерть ужасной!
А-хай! Кэй-ко-кэй-ко-ахх!

Но шаману мало было жизни одного обидчика – он призвал *уйвэл* и на все его потомство до тридцатого колена.

А-хай! Кэй-ко-кэй-ко-ахх!
Все они будут прокляты, каждая капля гнилой его крови!
Дочь моя обернется птицей!
Каждого из потомков его настигнет ее мщенье!
У его дочерей она отберет возлюбленных,
Погубит его сыновей, превратившись в смертельно прекрасную деву!
Покуда любовь продают за деньги,
Будут слова мои в силе!
А-хай! Кэй-ко-кэй-ко-ахх!

И сыпались под звон бубна проклятия на древнем языке, и слышался плач, а еще – как бы хлопанье огромных крыльев.

Наутро же те, кто пришел к шаману, были очень удивлены. Анипы не оказалось в яранге, и никто нигде не мог ее найти.

– Напрасно будете искать ее. Она обернулась птицей и улетела мстить своему обидчику, – сказал Акмаль. – Ее дочь вскормит Экла.

И Акмаль закинул голову вверх, в голубое небо. А там кружила белая полярная сова – *анипа*.

Глава 2

В детстве все было необыкновенным. Тихое волшебство было в том, как падает снег, непостижимо сияло солнце, магическое очарование таилось в звуках музыки, а музыка жила в огромном полированном ящике, и мама умела извлекать ее тонкими пальцами. В детстве была мистически огромная квартира с высокими потолками, заставленная великолепно тяжелой, темной мебелью. Бирюзовым потоком лились с карнизов бархатные шторы. А зеркало в гостиной было как колдовское зеленоватое озеро, и плавало там отражение

³ Уйвэл – проклятие, порча.

маленького человека с огромными шоколадными глазами.

Маленький человек, любивший волшебство, часто и подолгу болел. Его прохватывал самый легкий сквознячок, и вечер, когда приходила с работы мама, был уже отмечен колючим ознобом. Неприятно предвкушая грядущую церемонию измерения температуры и укладывания в душную мягкость постели, Сережа иной раз прятал термометр – когда в монументальный комод, когда и в сырой сумрак под ванной. Но термометр неизменно находился или в крайнем случае бывал одолжен у соседей и клевал подмышку холодным серебряным носиком.

– Тридцать семь и пять десятых, – грустно и деловито говорила мама и укутывала Сережу одеялом по самый подбородок. – Завтра придется с тобой дома сидеть, горе ты мое луковое...

В этих словах Сереже привычно слышался упрек, и он начинал тихо хныкать, в душе, однако, чувствуя щекотную радость. Радость оттого, что завтра не нужно будет идти в детский сад, предвкушение волшебного дня, пусть и отравленного простудной мутью, но с мамой, с мамой!..

В детском саду, стоит заметить, никаким волшебством и не пахло! Совсем наоборот – пахло всякой дрянью. Неизменно – хлоркой из уборной. И почти неотличимо – скользким супцом, которым кормили на обед, серым киселем из брикетов, пылью, скукой, от которой посерели и запылились даже золотые рыбки в аквариуме, а стекло самого аквариума покрылось буро-зеленой слизью.

Воспитательниц было две. Валентина Вениаминовна, которую, разумеется, звали Валентиной Витаминавной, была молодой и безразлично-доброй. Она разрешала брать все игрушки, шуметь, на голове ходить, – как высказывалась нянечка, не настаивала на том, чтоб питомцы доедали противный обед... В общем, обращала на детей мало внимания, сама чаще всего читала толстые книги без картинок.

Зато вторая – Евгения Ивановна – была просто невыносима! Пожилая, толстая, она двигалась с потрясающей легкостью, и ее повсюду сопровождал кислый дрожжевой запах. Эта воспитательница охотно применяла к детям все ей известные педагогические приемчики и совершала все мыслимые педагогические ошибки. Почему-то она считала, что детям для полного счастья необходима частая смена занятий и впечатлений. И как же это бывало мучительно, когда только-только на влажном твердом листе картона засияет лазурное море и берег цвета яичного желтка – оставлять все это, идти на прогулку, или играть в одну из бессмысленных «развивающих» игр, или махать руками под радостную музыку, и никак не понять было, в честь чего такая радость и почему никак нельзя попасть в такт глупо подпрыгивающей мелодии. Еще Евгения Ивановна с удовольствием привечала ябед и с удовольствием карала озорников. Наказывала она своеобразно и изобретательно – уличенному в шалости предлагалось некоторое время постоять посреди игровой комнаты с поднятыми вверх руками. Через несколько минут поза переставала быть удобной, поднятые руки наливались чугуном, держать над головой их становилось все трудней и трудней, а опустить страшно, а тут еще любопытствующие мордашки друзей и недругов... Наконец доведенный до отчаяния шалун разражался невозможным ревом, и с этой минуты он считался раскаявшимся.

В общем, детский сад был невыносим, а болезнь выглядела просто спасением. И еще – шансом подольше побыть с мамой. Мама тоже была частью заколдованного мира. Во-первых, она была очень молодая, совсем как девчонка. И еще красивая, совершенно не похожая на других мам. Те были толстые, усталые, с крикливыми голосами. А его мама была тоненькой и звонкой, как фарфоровая пастушка из сказки Андерсена, она всегда ходила на высоких каблуках, и от нее пахло цветами. Сережа чувствовал – куда бы они ни пошли, на маму все оглядываются, любят ее. Только для него мамы было всегда мало. Она училась – это называлось «аспирантура», любила ходить в театр и в гости, любила принимать гостей у себя... И только во время Сережиных болезней принадлежала ему целиком.

Как-то он заболел особенно серьезно. Грипп дал осложнение, обернулся двусторонним

воспалением легких. В больницу ребенка решили не помещать, но с неотвратимым постоянством два раза в день на дом приходила медицинская сестра и приносила в чемоданчике то, что было страшнее липкого озноба и изнуряющего кашля, – маленький прозрачный шприц. У этой аккуратненькой сестрицы была легкая рука, она колола совсем не больно, но Сережа содрогался только от одного вида шприца и долго потом не мог успокоиться. Если бы не это – хворать дома было бы просто чудесно, и, когда болезнь уже совсем прошла, Сережа наотрез отказался идти в детский сад.

Нет, он не кричал, не плакал и не топал ногами. Он ведь был очень воспитанный и сдержанный ребенок, как говорила Римма, и потому спокойно и серьезно поговорил с мамой. Мама должна была понять. Ему в детском саду плохо и скучно. Там играют в глупые игры, водят парами на прогулку и заставляют делать зарядку под дурацкую музыку, от которой только одна тоска. Пусть ему позволят оставаться дома одному. Он уже вырос, будущей осенью пойдет в первый класс. Он знает, что нельзя открывать газ, нельзя баловаться спичками, нельзя отворять кому попало дверь и выходить на балкон... Мама выслушала и кивнула. Она ничего не сказала, но определенно оценила Сережин спокойный тон, его резонные доводы и была готова ему помочь.

– Я должна посоветоваться с отцом и с бабушкой, – сказала она, поцеловав его на ночь в голову, и ушла, оставив включенным ночник.

Ах да! Были же еще отец и бабушка! О них-то мы и забыли. Впрочем, так им и надо. Им обоим всегда было не до Сережи. Бабушка даже не велела называть себя бабушкой, настаивала на имени – Римма. Римма, кроме того что она была бабушка, была еще врач и профессор. Но она не принимала детей в соседней поликлинике, а делала операции в институте. Это дома называлось «пропадать», так что бабушка у Сережи была совсем пропащая.

– Целыми днями пропадаю на работе! – восклицала Римма в телефонном разговоре.

«Мать опять пропала», – вздыхала мама, косясь на часы.

А когда Римма не «пропадала» в институте, то все равно была занята. Это означало, что она сидела в своей комнате, курила сигареты и читала скучные книги с кровавыми картинками, или слушала музыку, или писала что-то, и ей нельзя было мешать.

Отец... Да что ж отец! Он, как и все отцы, был очень занят на работе, а когда приходил домой – Сереже говорили, чтобы не шумел, потому что папа отдыхает. По воскресеньям иногда ходили в зоопарк или в цирк. Но в общем папа был как у всех.

Вечером состоялся разговор, к которому Сережа прислушивался из своей комнаты. Он знал, что подслушивать нехорошо, но ничего с собой поделать не мог. Тем более что разговор принял вовсе не тот оборот, на который Сережа рассчитывал! Сначала долго звучал папин голос, он упоминал «упорядоченные занятия» и «подготовку к школе». Это было кое-как понятно. Потом бабушка заговорила о непонятном. Потом они говорили все разом, и опять было ничего непонятно. А вот потом...

Нет, он, конечно, не рассчитывал, что мама будет все время дома, с ним. Но где-то в глубине своей детской души в это верил, как верят в чудо... А тут такая оказия!

Утром вся семья пришла к нему с дипломатической миссией. Да, они прислушались к его словам. Что ж, если он не хочет – может в детский сад не ходить. Но к сожалению, один дома он тоже оставаться не может. Ни в коем случае. И никто из членов семьи не в состоянии составить ему компанию. Все они работают. Поэтому пусть уж он подумает как следует и согласится (напряжение нарастало) на НЯНЮ!

Слово было непривычным, но знакомым. У Пушкина была няня Арина Родионовна. Она рассказывала ему сказки, он предлагал ей: «Выпьем с горя, где же кружка?..» Значит, няня – это не так уж и плохо. Может быть, она будет похожа на настоящую бабушку, какие водятся у других детей. С другой стороны, недавно Сережа читал книжку про Карлсона. У Малыша тоже была няня – фрекен Бок. И ее никак нельзя было назвать приятной личностью. Конечно она умела печь плюшки, и вообще там было много забавных приключений, но у Сережи нет знакомого Карлсона, а фрекен Бок без Карлсона будет слишком тяжелым

испытанием... Рассудив так сам с собой, продравшись сквозь дикую мешанину, составленную из Пушкина, Арины Родионовны, ключницы Прасковьи, фрекен Бок, детсадовской скуки и остаточной болезненной слабости, Сережа вздохнул и согласился на няню.

Четыре дня, пока искали няню, он оставался в квартире один, то есть, конечно, под сменяющимся надзором старших, то и дело забегающих с работы, но фактически – один, ему ни капельки не было страшно. Наоборот, он чувствовал себя свободным. От равнодушного надзора воспитательниц, от шума и гама нелюбимых сотоварищей, от необходимости принимать участие в «упорядоченных занятиях», большей частью скучных. Именно тогда, проводя дни в одиноком и блаженном заключении, он и придумал свою любимую игру. Игру в принца, заточенного в замке. Игру, составленную из всех прочитанных сказок. Злой колдун замуровал маленького принца в неприступной черной башне, чтобы самому править страной. Но принц не навеки останется ребенком. В один прекрасный день он вырастет, наберется сил, сломает неприступную черную стену, и выйдет на свет, и помчится на белом коне по цветущему лугу, и встретит девушку, которая умеет летать, прекрасную принцессу Птицу. Она самая красивая на свете, она всегда улыбается, никогда не обзывается и не показывает язык.

Играть так было приятно, и он даже огорчился, когда наконец нашлась подходящая няня. Хотя она Сереже, вопреки ожиданиям, понравилась. Она была молодая, наверное, как мама, и такая же красивая. Только, в отличие от мамы, она никуда не спешила, у нее были спокойные серые глаза, от нее приятно пахло чем-то теплым и сладким, и руки у нее были мягкие. Няню звали Галина Тимофеевна, но они сразу договорились, что Сережа будет звать ее просто Галина. И он стал называть ее так, а потом и няней Галей, Галечкой, Галочкой...

Зажили они славно. Теперь Сережа гораздо больше бывал на улице. Они с Галиной гуляли по городу. Она всегда покупала ему мороженое и жареные пирожки, похожие на смятые ботинки, – ни мать, ни бабушка никогда не разрешали ему есть на улице! Галочка занималась с ним – правда, он уже умел хорошо читать и писать, но простейшее арифметическое действие казалось мальчику сложнейшим ребусом. Она знала много загадок и логических задач, знала сказки и истории, которых не прочитаешь в книжке, а когда Сережка капризничал, отказывался от овсянки или не мог решить задачку, няня Галя рассказывала ему о своей дочке. Она очень красивая, добрая и послушная девочка. Она никогда не хнычет, любит кашу и слушается маму и бабушку. Бабушку, потому что живет сейчас у нее, в другом городе, но скоро приедет, и тогда Галя их познакомит.

– Я не дружу с девочками. Они дразнятся.

– Ну-у, Дашенька не будет дразниться. Вы обязательно подружитесь!

И в глазах у няни Галечки зажигались лукавые огоньки, как обычно у взрослых, когда они говорят с тобой о девчонках.

Незаметно подошел Новый год. Скатился с ледяной горки на саночках, прилетел озорным снежком, выбился веселыми искрами из-под чьих-то рискованных коньков. И заиграл на почтовом рожке. И замигал иллюминациями. Предыдущий праздник Сережа помнил смутно. Ему не понравилась елка в детском саду. У Деда Мороза была довольно-таки грязноватая борода из ваты, кисло пахнущая красная шуба, и вообще это оказалась переодетая Евгения Ивановна. Кукольное представление оказалось малышейовое. В подарок Сереже досталась совершенно никчемная губная гармоника из пористой пластмассы, конфеты в бумажном мешочке на вкус отзывались лежалым. И еще сильно жали новенькие ботинки. Так что в этом году он, несмотря на уговоры родителей, наотрез отказался почтить своим присутствием елку во Дворце пионеров – маме на работе выдали приглашение. Отец же подошел к вопросу иначе:

– Я тебя вполне понимаю. Елка в этом так называемом дворце – довольно скучное мероприятие, так что не настаиваю. Но я вот достал для тебя приглашение в наш Театр юного зрителя. Это главная елка в городе, и я думаю, тебе стоит туда пойти. Даже если ты настолько взрослый человек, что не понимаешь удовольствия кружиться в хороводе, то

спектакль тебе уж наверняка понравится...

Этот аргумент на Сережу подействовал неотразимо. Театр он обожал, и родители одобряли и поддерживали это пристрастие. Вернее было бы сказать, что мальчик забывался, глядя на сцену, он легко увлекался и не замечал границы между вымыслом и жизнью. Даже само освещение, все более приглушающееся перед началом, даже раздающиеся из-за кулис голоса, даже обязательная последовательность звонков – как они волнуют, аж сердце екает! – могли ввести Сережу в настоящий транс. Но относился он к театральному действу не по-детски серьезно.

Сережа отверг мамино робкое предложение нарядиться мушкетером или гномом. Что он, маленький, что ли? Да и не вокруг елки он скакать идет, а смотреть спектакль. Он повторил, словно бы гордясь этим: «Смотреть спектакль». Ему и на этот раз удалось отстоять свою позицию. Мама одела его как взрослого человека – черные брючки с отглаженной стрелкой и черный свитер с белыми ромбами на груди, пригладила его светлые кудри.

– Совсем жених, – рассмеялась она и обняла сына.

И Сережа тоже засмеялся и обнял ее, и они некоторое время постояли так – неудобно и приятно.

– Дед Мороз все равно ненастоящий, – шепнул Сережа отцу, едва они, чуть припоздав, вошли в зал, где уже сияла елка, слышался топот множества маленьких ног и фальшиво-радостные голоса взрослых.

– Само собой, – серьезно кивнул отец. – У настоящего, я полагаю, сейчас много дел...

Мальчишка покосился на отца, но ничего не сказал. Кружиться в хороводе ему не хотелось, не хотелось декламировать под елочкой стихи и прыгать наперегонки с крикливой тетенькой, наряженной зайцем, но он с удовольствием рассматривал ярко украшенный зал и сверкающую елку. Это помогло ему скоротать время до начала спектакля. Отец наблюдал за ним с тонкой улыбкой. Нет, это надо же, как подросток пацан! Скакать вокруг елки ему уже неинтересно...

Представление вновь увлекло Сережу так, что он обо всем забыл. Слегка приоткрыв рот, он следил за разворачивающимися на сцене событиями, пока его не отвлек навязчивый звук рядом. Судя по всему, шуршала фольга от шоколадки. Сережа с досадой покосился на соседа-сладкоежку и забыл о спектакле. Рядом с ним ерзала и егозила девочка удивительной красоты, больше всего похожая на картинку с конфетной коробки. У девочки был пухлый ротик, синие глаза, затененные мохнатыми ресницами, и золотистая коса.

– Хочешь? – прошептала девочка, по-своему истолковав Сережин взгляд, и протянула ему на ладони шоколадную дольку.

Сережа принял угощение, но не съел, а незаметно, как ему казалось, сунул в карман.

– Какой ты смешной! – хихикнула девчонка.

– А у тебя коса как у Снегурочки, – не остался он в долгу.

Она залилась клубничным румянцем и отвернулась, а он снова уставился на сцену, где бегала, размахивая картонными крыльями, девушка в маске совы. Но о соседке Сережа забыть не смог, то и дело косился на нее. Кокетливая вертушка чувствовала внимание соседа и старалась как могла: надувала губы, хлопала ресницами, поправляла падавший на лоб завиток, хохотала, по-взрослому закидывая голову, и к концу представления совершенно очаровала Сережу.

По окончании спектакля в зале и фойе образовалась сутолока, малыши стали плакать, утомившись. Там и сям слышались аплодисменты хлопущек. Отец быстро отвел Сережу в гардероб, и он потерял из виду ту хорошенькую девочку. По дороге домой Сережа думал, что никогда ее больше не увидит, и нащупывал в кармане липкий кусочек шоколада.

– Пап, а кто там?

– Где?

– Да вон! Это Галочка?

– Что ты, сын... Это не Галина Тимофеевна, ты ошибся.

Может быть, Сережа и ошибся. Ему показалось, что неподалеку, размноженную зеркалами, одевали ту самую красивую девочку, и одевала ее именно его няня, Галя! Он узнал и ее вьющиеся волосы, и манеру прижимать подбородком шарф, застегивая «молнию» на куртке, и даже то, как она устраивала на голове у девочки пуховый беретик, было Сереже знакомым! Он ощутил укол ревности, но тут отец взял его за руку, потянул через толпу к выходу и дальше по ледяной улице, и он забыл, что видел свою няню, потому что еще не знал, что взрослые могут врать.

А вот девочку он не забыл, но мысли о ней не были грустными. Он нашел себе подругу для своих одиноких странствий по придуманному миру. Теперь он будет все время думать о ней, о принцессе Птице, спасти ее из рук разбойников, мчаться с ней в карете по волшебному лесу, танцевать на королевском балу...

Ночью, когда он уже крепко спал, мама взяла брючки и свитер, лежащие на стуле, – повесить в шкаф – и нащупала в кармане подтаявший кусочек шоколада. Укоризненно покачив головой, она отнесла его в мусорное ведро.

А новый день принес новые чудеса. Целый день, с самого утра, наряжали елку, и какое это было счастье! Вначале мохнатое, душистое чудо долго оттаивало в прихожей, потом отец установил елку на грубо сколоченной крестовине, а дальше уж явилось самое главное – с антресолей достали две коробки – одна из них была круглая, словно из-под торта («мамина шляпная картонка», – называла ее Римма). Из них явились настоящие драгоценности, забытые за год шары, звезды, хрупкие фигурки – снеговичок, зайчик, старик Хоттабыч. Нашлись какие-то белесые бусы с подвешенной к ним фигуркой совы, – на фоне сияющих украшений они выглядели совсем некрасивыми.

– Ах, а это как здесь оказалось? – удивилась Римма. – Смотри, Сережик, это сестра милосердия, а где-то есть и казачок ей в пару. Очень старые. А вот настоящий чайничек с крошечной ручкой и тончайшей дудочкой, а вот снегирь, ручной работы, с алой грудкой... Мой отец особенно этого снегиря любил и говорил, взяв его в руки:

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снигирь?⁴

– Да, моя мать всю жизнь коллекционировала елочные игрушки, – продолжила она задумчиво. – Это так странно и так прекрасно – коллекционировать хрупкость... А до нее – ее мать их собирала. Посмотри-ка, Анечка, эти картонажы твоя бабушка покупала в Петербурге, в известном магазине Мюра и Мерелиза, папа мне рассказывал. Она и сама делала игрушки – вот этого херувима...

Херувим был толст и похож на соседского персидского кота. Сереже больше нравилась раззолоченная китайская пагода из тонкого стекла. И ночь напролет потом снилось ему, что красивая девочка, имени которой он не догадался узнать, живет в этом золотом дворце.

• • •

О том, что ему придется ходить в школу каждый день, исключая воскресенье, он и раньше знал, но не мог себе представить, что это будет отнимать так много сил и времени. А ведь еще были домашние задания; математические задачки, которые учительница так бойко решала, стуча мелком по доске, дома казались непреодолимыми, навевали дремоту и вязли на зубах, точно мармелад. Буквы же прописей уплывали куда-то за пределы тетрадного листа, не слушаясь мальчика. У Сережи совершенно не оставалось времени на игры – на те странные, только ему понятные и зримые игры, которые взрослые люди скорей называли бы мечтами... И это было больно, но не больней, чем расставание с Галечкой.

⁴ Стихотворение Г.Р. Державина «Снигирь».

Сколько было слез, когда он узнал, что Галина больше не будет появляться в их доме! Не сдержавшись, он заплакал при всех; глядя на него, прослезилась и няня:

– Милый мой, ну что ты так расстроился! Ну не надо, не надо... Ты будешь ко мне в гости приходить, а я – к тебе. Договорились?

Но из этого уговора ничего не вышло. У Сережи больше не было времени для того волшебного мира, который так занимал его душу до школы. Утром – уроки, потом еще нужно делать домашние задания, а тут его еще стали учить музыке...

Огромный полированный ящик, давно дремавший в бабушкиной комнате, открыли, и он показал Сереже свои черно-белые зубы. Гаммы звучали робко и неуверенно, и это тоже служило поводом для огорчения. Сережа охотно согласился учиться музыке, потому что хотел играть как мама – какие-то волшебные пьески, яркие и звонкие песенки. А оказывается, для этого надо долго учиться, долбить гаммы до головной боли, выворачивать пальцы...

– Стерпится – слюбится, – блистала почерпнутой у Даля народной мудростью Римма.

И действительно, кое-как слюбилось. Музыка давалась Сереже легко, сказались врожденные способности. Да и в школе дела пошли на лад. Нет, он так и не нашел себе приятелей среди одноклассников, зато открыл для себя новую, жгучую радость – быть лучше всех, быть первым в учебе, чтобы учительница вызывала его и говорила:

– А вот теперь Сережа Акатов покажет нам, как решается эта задача!

Он был первым, он был вне конкуренции на всех уроках... Кроме уроков физкультуры. Мама возмущалась, вернувшись с родительского собрания, где учительница зачитала нормативы:

– Нет, что это за варварские процедуры? Володя, ты посмотри, ты только подумай: он должен пробежать один километр за пять с половиной минут! Кинуть мяч на двадцать семь метров!

– Не вижу ничего сверхъестественного, – мямлил отец, из-за газетного листа оглядывая хрупкую фигурку сына. – Мальчишки вообще быстро бегают и... Мм... Далеко кидают мячики.

– Да? – возмущалась мама. – А ты – нет, ты отложи, пожалуйста, газету! – ты отожмешься от пола пятнадцать раз подряд?

– Я? – удивлялся отец. – Ну что ж, пожалуй...

Мама вырвала газету у отца из рук:

– Вперед!

– Что – вперед?

– Отжимайся! А мы будем смотреть и считать!

Отец посмеивался, пытаясь обратить все в шутку:

– Анечка, после плотного ужина врачи не рекомендуют физкультурные упражнения. Знаешь, сегодня были такие вкусные котлетки...

– Обычные были котлетки. Куриные. Не пытайся подлизываться. Я не шучу. Вперед и с песнями!

Все так же посмеиваясь, отец неловко уложился на ковер и начал отжиматься.

– Раз, два, три... – подпрыгивая от восторга, считал Сережа вслед за мамой.

Но досчитать пришлось только до восьми. Папа выдохся, лег ничком на ковер и запросил пощады.

– Вот видишь! – торжествуя заметила мама.

– Да, я что-то не в форме, – вздохнул отец, усаживаясь обратно в кресло и смущенно потирая ладони. – А Сережке сколько надо отжаться по этим их...

– По нормативам? Пятнадцать раз!

– Кошмар какой, – снова вздохнул отец и потрепал сына по спине. – Ну, ты уж держись, мужичище... Как-нибудь.

Так оно и шло – «как-нибудь». Правду сказать, мало кто из их 1 «А» класса мог пятнадцать раз отжаться, нормативы были явно завышенными, неизвестно, кто их придумал!

Поэтому над Сережей особенно не смеялись. Зато как невыносимы были эстафеты, командные спортивно-военные игры, какой апокалиптической бессмысленностью отдавали они! Сережа неизменно сбивался, путал задания, путался в собственных ногах, обряженных в новенькие кроссовки, спотыкался, разбивал колени и конечно же подводил всю свою команду, которая потом награждала его презрительными рекомендациями и унижительными прозвищами!

Болеет он по-прежнему часто, и только болезни и последующие освобождения от физкультуры служили ему отдушиной. Совершенно внезапно на защиту ненавистных уроков встала Римма.

– Лично я, как врач, стою за уроки физкультуры, – строго заявила она родителям. – Лично я не вижу ничего хорошего в том, что он у нас такой субтильный!

– Мне кажется, мамуля, ты всегда была поборницей чисто гуманитарного воспитания, – хихикнула мама. – Нам с Ниночкой ты всегда записки в школу писала, чтобы нас освобождали от уроков физкультуры, помнишь?

– Еще бы не помнить! Но вы – девочки, у вас в жизни другая миссия. Если ты помнишь, неблагодарная дочь, я же вас сама и научила специальной гимнастике, поддерживающей фигуру. И ты до сих пор ее делаешь! Как, собственно, и я. А мальчик у нас растет тепличный. Я не говорю о том, чтобы воспитать из него атлета, но он должен уметь красиво двигаться и иметь хоть какую-нибудь мышечную массу! Иначе он так и не выкарабкается из болячек и с возрастом обрстет лишним жирком!

Отец хмыкнул и почему-то втянул живот.

– Но я не вижу выхода... – начал он.

– А я вижу, – сказала, как отрезала, Римма Сергеевна. – Запишем его в секцию легкой атлетики, пусть занимается.

Мама театрально покачнулась, якобы собираясь упасть в обморок.

– Такие нагрузки! А он справится? Школа, музыка...

– Справится! – уверенно ответила бабушка Римма и обратилась наконец к самому Сереже: – Как ты полагаешь?

Сережа только плечами пожал. Лучшими минутами в его жизни были минуты, когда он залезал в кресло с книгой и его оставляли в покое... Но насмешки в школе больно ранили его самолюбие, и он сказал:

– Можно попробовать.

Записываться в секцию он пошел самостоятельно. В рюкзаке у него лежала записка маминым ломким почерком по листу бумаги в клеточку. Но как-то вышло, что он не пошел прямо в спортивный зал, а не спеша потащился по коридору Дворца пионеров и вдруг услышал звуки вальса, раздающиеся из-за плотно прикрытой двери. Не совладав с любопытством, он заглянул в щелку.

За дверью был слабо освещенный зрительный зал, пустой. Только в первом ряду сидел человек, звуки вальса неслись из небольшого магнитофона, стоявшего перед ним на столе. А на сцене танцевала пара – девочка в чем-то воздушном, розовом, на взрослых высоких каблучках и мальчик в черном костюме, с гладко зачесанными рыжеватыми волосами. Им было лет по десять – одиннадцать, но они показались Сереже очень взрослыми и необыкновенно красивыми. Человек в первом ряду смешно размахивал руками и покрикивал на танцующих:

– Темп, темп держим! Леночка, спинку! Соберитесь, ребята, вам завтра выступать!

Тут Сережа почувствовал, что кто-то хватается за шиворот, и понял, что возвращающиеся с тренировки ребята собрались проделать с ним старую и довольно жестокую школьную шутку, когда уличенного в подглядывании вталкивают в кабинет – на позор и поношение. Понять-то он это понял, но предпринять для своего спасения ничего не успел – как пулька из игрушечного пистолета влетел в зал и шлепнулся на пол. Он попытался тут же выскочить обратно в коридор, но куда там – дверь придерживали снаружи, оттуда слышались смех и голоса.

Тем временем музыка смолкла. Танцевавшие ребята и тот, наверное их тренер, что размахивал руками, устали на него. Девочка засмеялась, но как-то необходимо.

– Ты кто? – строго обратился к нему тренер.

– Я... Сережа, – окончательно смешавшись, ответил мальчик.

– Вот как? Любопытно. А что же ты делал за дверью, Сережа? И как тут оказался?

– Меня мальчишки втолкнули. А я не намеревался вам мешать. Я просто хотел посмотреть.

– Не намеревался? – переспросил тренер. – Хмм, вот какая оказия... И что же – посмотрел?

– Посмотрел.

– И как?

– Красиво, – искренне сказал Сережа. – Очень красиво.

– Ты находишь? Да ты, я вижу, ценитель...

В голосе тренера насмешки не слышалось, и Сергей приободрился:

– А скажите, пожалуйста, это трудно – научиться так танцевать?

– Серьезный вопрос. – Тренер наклонился к Сереже поближе, и мальчик увидел его веселые глаза. – Пожалуй что довольно трудно. Но возможно. А тебе хотелось бы?

Сережа кивнул.

– Тогда попроси родителей, чтобы тебя записали в кружок бальных танцев. Меня зовут Валерий Маркович. Запомнил? Придешь?

– Я постараюсь, – промямлил Сережа. – А вы тренер?

– Я учитель, – значительно ответил Валерий Маркович и сразу же забыл о мальчике. Он нажал кнопку на магнитофоне, и из динамиков снова потекла мелодия вальса, юная пара танцоров заскользила по сцене. Сережа понял, что ему пора уходить.

Дома он заявил, что будет заниматься бальными танцами, а вовсе не какой-то легкой атлетикой, потому что еще неизвестно, что это, атлетика-то, а бальные танцы – это красиво! Мама едва отговорила его прямо сейчас вернуться к Валерию Марковичу и записаться в кружок бальных танцев. Она убедила его, что нужно посоветоваться с отцом и с бабушкой и «если они не будут против»...

Разумеется, они не были против, а Римма так даже очень обрадовалась. Уже лежа в постели, Сережа слышал разговор из соседней комнаты, в котором выделялся ее мягкий, низкий голос:

– Все-таки у нас чудесный, необыкновенный мальчик. Какая утонченная душа, какая тяга к прекрасному... Других детей из-под палки заставляют, а он попросился сам. Но какой необыкновенный мальчик...

«Разумеется, – с гордостью подумал Сережа. – Заколдованный принц из волшебного королевства...»

И он заснул.

Глава 3

Вадим Акатов курил на лестничной клетке. В свое время, когда он вселялся в эту квартиру, требование тещи «вынести курение за пределы жилой площади» только позабавило его. Он не сомневался: пройдет некоторое время, и ему будет позволено курить, скажем, в кухне. Как-нибудь само собой так получится. Но просчитался. А ведь мог предположить, что так и будет, что в этой семье матриархат, но был влюблен, как мальчишка...

Анна Лазарева училась на факультете иностранных языков в педагогическом институте. Факультет занимал старинное здание в историческом центре города, а неподалеку располагалась галерея магазинов, в просторечии называемая «кишкой». Там и работал Вадим – товароведом в магазине верхней одежды «Белочка». Само собой разумеется, студенты часто перебегали дорогу, но заглядывали в основном в гастроном – за кефиром и пряниками

– и в кулинарию – за пирожными. Анечка, как потом выяснилось, к сладкому была равнодушна, зато питала болезненное пристрастие к мехам. Она заходила в «Белочку» и надолго застывала перед витриной с шубами. Две продавщицы, вечно скучающие, похожие, как близняшки, девицы с одинаковыми пергидрольными прическами, привыкли к ней, даже перекидывались словечком и разрешали ей примерять роскошную доху из голубой норки, которая зависла в магазине ввиду своей непомерной цены.

Доха была Анечке велика. Худенькая девочка просто тонула в ней, из рукавов виднелись кончики розовых пальчиков, из-за высоко поднятого воротника странно мерцали глаза с расширенными зрачками. У нее были темно-русые волосы, черные ресницы и брови, красиво изогнутые, очень заметные на бледном лице. Рот у нее был крупный, со странно расплывшимся, как после плача, контуром, и по вечно обкусанным губам можно было понять, что девушка очень нервная. Она могла бы, наверное, целый час простоять перед зеркалом, любуясь собой, но вот из здания факультета доносилось дребезжание звонка, и Анечка снимала шубу. Глаза ее гасли, плечики жалобно сужались, и она уходила.

Вадим влюбился.

Он решился подойти к ней, заговорить, – девушка даже не посмотрела на него. Он пригласил ее в кафе – она пожала плечами. Не красавец, старше ее, неповоротливый, даже уже начал лысеть, так чем он мог прельстить красоточку студентку? В ее годы влюбляются в кудрявых однокурсников с гитарой... Но Вадим не отступал. Через три недели Анечка дрогнула, когда Вадим показал ей два билета на концерт заезжей звезды. Влетели ему в копейку эти билеты, но, когда речь идет о всей будущей жизни, скупиться не следует!

С концерта Аня позволила проводить себя домой. Они прощались у подъезда, и Вадим, презирая себя за ребячью нерешительность, соображал: поцеловать ее или пока не стоит? И вдруг с балкончика прямо над ними раздался женский голос – красивый низкий голос, как темный, теплый мед, в котором, однако, попадались иголки иронии:

– Анна, что же вы стоите у подъезда, как подростки? Поднимитесь, угости своего кавалера кофе...

В огромной квартире с натертым до золотого сияния паркетом Вадим растерялся еще больше. Таких домов он еще не видел и не знал, что в них можно жить. Разве живут в музеях? Ему было страшно взяться за ручку-петельку тонко расписанной кофейной чашечки, ему нравился запах свежесваренного кофе, но вообще-то он кофе не жаловал – горечь одна, тем более что положить в чашку сахар Вадим тоже постеснялся. Он любил очень сладкий чай с молоком, и чем больше емкость, тем лучше! Совсем недавно Вадим прикупил для своего домашнего обихода огромные чашки, красные с золотыми петухами, вот это вещь! И Галке понравились...

Вадим родился в глухой пензенской деревеньке. Мать трудилась птичницей на ферме, отец работал трактористом и крепко попил, и подростком Акатов сбежал в Верхневолжск. Потому что не хотел работать ни механизатором, ни трактористом, не хотел возиться в грязи и навозе, не хотел пить вонючий мутный самогон и круглый год ходить в сапогах... Он надеялся на лучшую участь, он хотел учиться в институте, хотел пристроиться на сытное местечко, жениться на городской девушке с жилплощадью.

Когда Вадим заканчивал восьмой класс, его мать поехала навестить своего среднего сына, Игоря, – тот сразу после армии женился и осел на побережье теплого моря. Поехала мать и не вернулась – только письмо прислала. Так, мол, и так, решила остаться, внучат нянчить. Дом тут большой, сад, хозяйство... А муж пусть как сам хочет, да и сынок уже взрослый. Вадим сильно тогда обиделся на мать и, едва окончив восьмой класс, уехал в город – в чем был, с картонным чемоданишком, в котором бултыхались, громыхали новые ботинки. В Верхневолжске у него была родственница, первая жена отцовского брата. Его давно уже не было в живых, а до того, как погибнуть при исполнении воинского долга, родной, но незнакомый Вадиму дядя успел жениться еще пару раз, так с чего мальчишка решил, что у него есть какая-то родственница? Но оказался прав: Дарья Ивановна приветила его как родного, наказала звать себя тетей Дашей. Она была одинока. Бодрая, живая как

ртуть старушка хотя и была давно на пенсии, но все еще работала библиотечаршей в школе поблизости. Она завивала и подкрашивала синькой седые волосы, одевалась элегантно – строгие черные и синие платья, старомодные лакированные туфли, шляпки... Воротнички крахмальные кружевные закалывала она красивой брошью с рельефным женским профилем.

– Это называется камея, – объяснила она племяннику при первом же разговоре, заметив, что он глаз не сводит с необычной безделушки. – Старинная вещь, настоящая драгоценность. Досталась мне от бабушки.

Вадим только кивнул, но простые слова тетки вызвали в его душе целую бурю эмоций. Его, деревенского мальчишку, поразило то, как она просто сказала о том, что вещьца дорогая. Сказала ему, чужому, в сущности, человеку, которого видит в первый раз, которого знать не знает! Какая она... доверчивая. Совсем не знает жизни. Да за ней самой глаз да глаз!

Они зажили ладно. Помогали друг другу, как могли, кое-как перебивались на зарплату Дарьи Ивановны. Вадим пошел учеником на завод, потом его призвали в армию. Дарья Ивановна проводила его, даже всплакнула.

В армии ему понравилось – там все было ясно, все понятно и кормили по часам. Командир даже советовал Акатову стать военным, предрекал ему блестящее офицерское будущее, но тот только скреб пятерней в стриженном затылке. Это сколько ж надо служить-то, пока до, скажем, генерала дослужишься, а сладко пожить теперь уже охота! Нет, в жизни надо определиться по-настоящему!

Вадим демобилизовался и поступил в институт, хотя сам не очень-то верил, что сможет, что мозгов хватит. Выручили его упорство и особого рода крестьянская, от корней, сметливость. Выбрал институт себе по плечу – сельскохозяйственный, факультет технологии кожи и меха.

Знакомые говорили, что специальность эта престижная, с такой не пропадешь. Но уже и стипендия стала подмогой, Акатов если и не был в первых рядах, то и не прогуливал, не отсыпался с похмелья на камчатке, не отличался в студенческих гулянках, не водился с нехорошими девушками. Дарья Ивановна гордилась им... Жаль только, что она не дождалась, когда Вадим получит свою престижную профессию. Вадим заканчивал институт, когда ее не стало. Но тетка успела прописать племянника в своей квартире. Таким образом, мечта Акатова начинала сбываться...

Он хлопотал, чтобы устроить похороны по-людски, и все переживал, что никто из родни не проводит Дарью Ивановну в последний путь – не телеграфировать же отцу в деревню! Да и жив ли был отец, не допился ли за эти семь лет до смерти, не угодил ли по пьяному делу в пруд на своем тракторе, не угорел ли в собственной избе от не вовремя закрытой выюшки? Этого Вадим не знал и знать боялся. Перелистал старенькую записную книжку тетки и нашел-таки один телефон – старой ее подруги Нади, живущей в маленьком военном городке километров за триста от Верхневолжска. Вадим позвонил, и ему откликнулся сочно хэкающий басок. Подруга посокрушалась, пожаловалась на дороговизну перелетов, но обещала быть на похоронах. Такое дружеское рвение показалось Вадиму подозрительным, и не напрасно!

Надя, старая приятельница покойной (в сущности, давно уже бабушка Надя), приехала не одна. Да ее и одной-то было многовато! Невероятно полная, с усами, как у Буденного, слезливая и шумная, она к тому же прихватила с собой внучку Галочку – дескать, покойница носила ее на руках «во-от такусенькую». Галочка, вернее, целая Галина была рослой барышней с выраженными формами. Истинная причина приезда Галочки выяснилась во время поминального обеда, и тут было не без подвоха.

– Умерла, умерла наша Дашенька Ивановна! – причитала подруга Надя, беспрестанно промакивая слезящиеся глаза салфеткой. – А ведь обещалась о Галочке позаботиться! Иной раз скажет: и не грусти, Надюша, и голову не ломай, как надо будет Галочке поступать в институт, нехай приезжает и живет сколько хочет! Не в общежитие ж ей идти-то, девочка домашняя, тихая, стеснительная, а там, поди, хабалки одни, обижать ее станут, да и спортят еще!

«Такую, пожалуй, обидишь!» – хмыкал про себя Вадим, украдкой рассматривая статную Галочку. Неужели она только что со школьной скамьи? А смотрится вполне созревшей девицей и совсем не тихой, не стеснительной!

«Симпатяшка, – любовался Акатов. – Впрочем, в юности они почти все симпатичны. К тридцати годам расплывется, обабится... Вон у бабуся-то какие усики над верхней губой, прямо как у Буденного! А глаза синие, томные. Тоже, наверное, хороша была в молодости!»

– Ах ты ж, Галюнюшка моя, куда нам теперь податься? Что ж ты, Дарья моя Ивановна, еще не пожила на белом свете?

Вадим сидел как на раскаленных углях. Он не мог понять, что связывало тихую, деликатную, интеллигентную тетку с этой разбитной, наивно-нахальной бабищей. И как ему теперь быть, как реагировать на все эти «тонкие» намеки? Послать бы их куда следует... Но что, если Дарья Ивановна и в самом деле что-то там обещала своей старой подруге? Не будет ли это неуважением к памяти покойной. Да и сама Галюнюшка... Гм... Ничего себе девка. Грудки крепенькие, как репки...

Простонародная честность боролась в Акатове с простонародным же стяжательством, и первая победила.

– Я что же, – пожал он через силу плечами. – Пускай приезжает, живет сколько надо. Если для учебы... А места хватит, комнаты-то две.

А сам подумал в ужасе: «Да что ж я такое несу, остолоп? А если бабуся эта усатая тоже с внучкой сюда переедет, последить там за ней, чтоб... «не спортили»?» Он же этого не переживет!

– Ой, да я даже не знаю, – делано растерялась подруга Надя. – Вроде как неловко девке-то с холостым мужчиной в одной квартире жить. Или как, ничего? По нынешним-то временам не осудится?

– Ничего, – согласился Вадим.

– Ничего, – эхом отозвалась Галя и этак повела плечиком, круглящимся под тонкой батистовой блузкой, что у Акатова в горле пересохло.

– Ну, ничего, так и ничего! На бухгалтера будет Галюнюшка учиться, мы все ведь бухгалтера – и мать ее, и я до сих пор работаю... Так нехай она приедет?

– Нехай, – вздохнул Вадим.

Накануне Галочкиного приезда он, хоть и делал перед самым собой вид, будто сердится, все же прибрал и обиходил теткину квартиру. Окна и полы вымыла за небольшую денежную мзду соседка снизу, очень молодая и очень некрасивая мать-одиночка, а хозяин возился по мелочам – снял со стен и спрятал многочисленные фотографии неведомых теткиных родственников, собрал вообще все тетнины платья, туфли, пальто, шарфики и отдал все той же соседке, предложив, что пригодится, взять себе, а остальное раздать подъездным старушкам либо выбросить. Немногие ценные вещи – два истертых обручальных кольца, одно теткино, другое ее мужа, дешевенькие сережки с красными камушками, брошку с камеей, лежавшие в палехской шкатулке, – он припрятал в шкаф. Хотел было собрать и куда-нибудь устранить фарфоровые фигурки, которые в изобилии украшали все горизонтальные плоскости теткиной квартиры – всех этих сытых мопсов, увесистых балерин, пионеров, узбечек, унылый выводок слоников с отбитыми хоботами, – но вспомнил коровьи очи Галочки, ее сдобные плечики и передумал, оттащил все безделушки в комнатку, предназначенную квартирантке. Квартира была удобная – самое то, чтобы жить двоим и даже не встречаться, так называемая «чешка». В середине кухни, направо большая комната, налево – поменьше. Меньшую он и отвел Галюне, и обустроил как мог, даже вытащил из запасов Дарьи Ивановны пожелтевший тюль и развесил, по своему усмотрению, на карнизе. Оказалось, угодил.

– Ой, как красиво, – вздохнула Галя, встав на пороге отведенной ей комнатки. – Это вы для меня так все устроили? Вот спасибо. А я вот... Возьмите...

Она тыкала Вадиму в руку купюры, свернутые в плотный рулончик.

– Это еще зачем?

– Это за квартиру, а как же...

Он хмыкнул и сунул деньги обратно – Галочке в потную ладошку.

– Еще чего! Ну ладно, ты отдыхай, располагайся. Я на работу.

Он не помнил, чтобы пожалел о том, что пустил в дом эту девчонку. Галина, несмотря на свое капитальное телосложение, была тихая как мышка и очень застенчивая. Зато варила отличные красные борщи, весело подрумянивала по утрам блинчики, жарила картошку по-деревенски – на сале, с лучком, умела печь пироги. Пироги у нее не просто пеклись или жарились, а млели, и нежная мучная пыльца покрывала их мягкие, сочные бочка. Возьмешь пирожок – и на пальцах остается эта самая легчайшая пыльца... Через некоторое время Вадим обнаружил, что они уже всюду ведут совместное хозяйство. Это было удобно – сам он как-то не научился готовить, мог только утром яичницу сварганить, в иное время жил на подножном корму. А теперь благодать, теперь совсем как в деревне, когда мамка еще с ними жила! Тогда они питались просто, но добротнo. Галя смогла угодить на его вкус, и теперь он только приносил домой продукты, а то и сама Галочка притаскивала домой тяжелые сумки, рассказывала ему, распределяя продукты в холодильнике:

– С утра пошла за мясом, купила бараньи ребрышки. Будет плов. Взяла сгущенки, а вот стирального порошка мне не досталось, зря давилась в очереди.

– Я достану, – кивал Вадим. – Мыло есть?

– Есть пока. Туалетной бумаги бы хорошо.

– Сделаем...

Такой вот бытовой, почти супружеский разговор. Вадим на тот момент уже работал в торговле, уже повязан был сетью незримых нитей со своими многочисленными коллегами, уже осваивал тонкое искусство. Ты – мне, я – тебе. Ничего, жить можно. Галочка, кажется, искренне восхищалась его коммерческими дарованиями, превозносила до небес как хозяина и добытчика, и это было приятно. Вадим вообще привык к ней, как привыкают к предметам домашней обстановки – например, к комфортабельному креслу. Жизнь с Галочкой оказалась удобной и целиком его устраивала, они жили как родственники. Она словно заменила ему тетку Дарью Ивановну, по которой он не переставал тихонько скучать. У них не было одного – общей постели.

На Акатова стали обращать внимание девушки. Вернее, он сам повернулся лицом к слабому полу, а чего ж? Отслужил, отучился, зажил самостоятельно, скоро пора семью заводить, так надо же погулять, чтоб было что вспомнить! Общительные и бойкие девицы из сферы обслуживания охотно сводили знакомство с серьезным кавалером, который не охальничал, не напивался, приглашал на кофе с пирожными в приличные кафе и даже дарил цветочки, а уж это по нашим развращенным временам – «ва-аще»!

Так что плотские радости Вадим добирал на стороне, да и то порой призадумывался. Стоит ли тратить время, деньги и силы, если дома тебя ждет такое прелестное, кроткое, готовое к любым уступкам существо. Но... от добра добра не ищут, правда ведь?

Все изменилось почти против его воли. Он крутил роман с молоденькой продавщицей из соседнего отдела – она была миленькая, капризная и меркантильная девчонка. Долго-долго она Вадима не подпускала к себе, и он уже начал изводиться, мужское самолюбие не давало отступить, и он положил себе непременно добиться этой вертушки. Акатов водил ее по ресторанам и иной раз, терзая ножом зажатую до кондиции подошву отбивную, смертельно тосковал по Галочкиным воздушным котлеткам, подавлял зевоту и изжогу от шампанского. Но инстинкт охотника гнал его вперед, и вот наступил наконец тот вечерок, когда продавщица согласилась заглянуть к нему на чашку чая. Вадим в тот вечер был хмелен – и от выпитого вина, и от предвкушения долгожданной победы, так что сам факт присутствия в его квартире Галочки как-то испарился у него из памяти. Он вспомнил о ней, только расплачиваясь с таксистом. Его спутница стояла поодаль, покачивалась на высоких каблучках и при свете фонаря выглядела весьма соблазнительно в своем полупрозрачном шифоновом платье.

«А, была не была! – решил Акатов. – Галя, наверное, уже спит. Двенадцатый час, а она

рано ложится. Да и потом, что тут такого? Кто она мне? Не жена и даже не сестра. Квартирантка, да еще и на моих харчах!»

Но оказывается, его гостя полагала иначе. Она вошла в квартиру, пила шампанское (и куда только в нее лезло, ведь собирались, кажется, пить чай), кокетничала с Вадимом, а потом попросилась в ванную. Он проводил ее и быстро принялся стелить постель. Девушка вернулась быстро, он даже не ожидал.

– Ты что, женат? В твоей ванной сушится кружевной лифчик, пятый номер, и полно косметики!

Ну уж так и полно! Стоял там какой-то лак для волос, завалящийся, отечественный, да косметический набор, что он же, Вадим, подарил Галочке на Восьмое марта! И потом – какая ей разнице, этой свистульке, женат Вадим или нет, он же ее не замуж зовет! Он не давал ей никаких обещаний, не собирался на ней жениться, следовательно, ее и не могло оскорбить кружевное женское белье в его ванной...

– Успокойся, котенок. Это лифчик и косметика моей квартирантки. Не кричи так, она, должно быть, спит давно.

Но вздорная девушка уже раздухарилась. С чего бы это, шампанское, что ли, ей в голову ударило? Размахивая руками, как ветряная мельница, что-то возмущенно пища, она вырвалась в коридор, обула свои парнокопытные туфли – а у нее, оказывается, тонкие, кривые ножонки! – и удалилась, грохнув дверью, оставив Акатова в недоумении. Что она так завелась? Черт, а он-то, дурак, раскатал губу!

Вадим выключил свет и снова повалился на диван. Он уже начал засыпать, уже нахлынула теплая волна дремы, смывая досаду, как вдруг скрипнула дверь. Это была Галочка, кто же еще? Мягко белея в темноте ночной рубашкой, она подошла к дивану:

– Я слышала шум... Это я виновата, да? Я вам мешаю. Ваша невеста...

– Какая там еще невеста, – прошептал Вадим, стряхивая с себя остатки хмельной дремоты. – Иди-ка сюда. Ты почему босиком? Озябнешь!

Какое там «озябнешь»! Ночь была тропически душная, градусов тридцать, и ни сквознячка, ни ветерка! Но Галочка охотно юркнула в постель – только ахнули восхищенно пружины матраса – и даже натянула на себя простыню. Впрочем, она не намерена была разыгрывать из себя недотрогу.

В сущности, между ними почти ничего не изменилось. Они все так же вели совместное хозяйство. Галя готовила, стирала, убирала, Вадим приносил в дом деньги и добывал дефицитные продукты, а дефицитом теперь стало все. Они даже не спали вместе – ласки заканчивались, Галочка бежала в душ, а оттуда в свою комнатку спать. Казалось, это устраивало обоих. О чувствах между ними разговора не было. Да и какие там чувства? Сошлись, потому что так сложились обстоятельства.

«А ведь я не знаю, что она там себе думает, – говорил себе Вадим порой. – Может, надеется стать тут полноправной хозяйкой и законной женой. Ну, не теперь, а со временем... Тут, голубушка, ты промахнешься, у меня другие планы. Поди, родственники, когда тебя сюда посылали, имели свои виды. Галка, говорят, смотри, не зевай, парень видный, при деньгах, при квартире...»

И вот теперь появилась Анна, осветила его жизнь лихорадочным светом своих глаз. Девушка из хорошей семьи. Девушка, на которой можно и нужно жениться. Вадим обомлел, когда узнал, кто ее родители. Оба известные врачи-кардиологи, отец, правда, живет в другой семье, а мать работает в местном НИИ кардиологии, куда со всего Союза люди едут! Римма Сергеевна оказалась стройной, изящной дамой с гладким лицом. Она не ждала гостей, но, когда дочь с «кавалером» вошли в квартиру, встретила их при полном параде. На ней была узкая черная юбка, белая блузка, а на ногах – не расхристанные шлепанцы, а туфли, черные лодочки без каблука. И Вадиму не предложили разуться, не кинули к его ногам истертые тапочки... Он пил кофе из крошечной, видно старинной, чашечки, и мать Анны занимала его беседой. Он ухмылялся про себя, чувствуя, как хитрая женщина прощупывает его в разговоре, пытается понять, что он есть, подходит ли он ее дочери. Римма Сергеевна («бога

ради, просто Римма!») еще не успела прийти к какому-либо заключению, а Вадим уже знал: эта женщина станет его тещей. А Анна, соответственно, – женой. Это будет достижение, эту вершину стоит покорить!

Но не так-то это оказалось просто. Судя по всему, он заслужил не самую высокую оценку Риммы, недаром в ее прозрачных, насмешливых глазах виделось ему короткое словечко «торгаш». Клеймо. Приговор. Он недостоин Анечки, не будет достоин даже в том случае, если бросит к ее ногам доху из меха голубой норки, да что там – все меха мира! И деньги тут не помогут. А как обидно – он ведь делал ставку именно на свои коммерческие способности, на умение «вертеться», которое так ценится повсюду, да хоть в его родной деревеньке!

Деньги у него были. Он научился их зарабатывать. Место товароведа в магазине Вадим сменил на должность эксперта при небольшой меховой фабрике. Разумеется, кое-какие из его махинаций не были бы одобрены законом, но... Денежки-то в карман бегут! А потом собрался с силами, нашел компаньона и открыл кооператив. Выпускал недорогие и модные шубки из натурального меха, их раскупали охотно. Шубы, разумеется, были негодященькие. Поставщики темнили, ворс со шкурок сыпался, дворовые шарики и мурки не по-доброму косились на обладательниц модных новинок, но... Но люди, измученные скудным казенным ассортиментом и годами дефицита, и тому были рады. Кооперативы, они все так работают, и никто не жалуется, население даже песенки сочиняет: «Что это за шарфик, как же он красив! А кто все это сделал? Кооператив!»

Глава 4

Миновала зима, городская весна уронила на теплеющий асфальт с бегущим по нему первым жучком-«солдатиком» свои тополиные серьги, наступило лето. Вадим встречался с Анной время от времени, но не подвинулся ни на йоту – в его активе было только несколько поцелуев да ласковое словечко, которым она как-то с ним обмолвилась. А летом, после сессии, она уехала куда-то отдыхать, и Вадим не видел ее почти месяц. Он уже готов был отступить – что ж, не вышло, не срослось, нужно искать новый вариант. Собирался даже и сам поехать отдохнуть к морю, в одиночестве. Не Галочку же с собой тащить – в Тулу со своим самоваром не ездят!

Но прежде чем взять отпуск, собрался-таки с духом и позвонил Анечке. Трубку взяла Римма и заговорила неожиданно приветливо:

– Ах, это вы, молодой человек? Хочу вас побранить по-матерински. Куда же вы запропали? Нельзя так, Вадим. Анюта приехала две недели назад и вся извелась, вашего звонка ожидаючи. Позвать ее? А зачем? Приходите к нам к обеду, да и дело с концом!

Он обрадовался такой метаморфозе, купил на пышном летнем базаре два букета и помчался к Лазаревым. Но Риммы дома уже не было, она ушла в свой институт. Его встретила Анна. Она очень изменилась за то время, пока он ее не видел. Солнце расцеловало ее до пряничного закала, личико округлилось, опростилось, на носу высыпали крошечные конопушки, глаза, обрамленные выгоревшими ресницами, глядели по-детски. И губы обкусаны, обкусаны, и желтоватый синяк на загорелом предплечье... Такой простой, такой близкой, как ромашка на лугу, она была в своем желтеньком сарафанчике, что Вадим смог затормозить только в сантиметре от пропасти – он чуть не назвал ее Галочкой...

И не только внешне изменилась Анна. Вадим раньше и не знал, что она умеет отвечать на поцелуи, что губы ее могут быть так горячи... Что ж, говорят, разлука усиливает любовь. Значит, правду говорят. Эти горячие, обкусанные губы, эти глаза, что с каким-то отчаянием смотрят в его глаза!

– Ты будешь моей женой?

Он спросил и смутился – слишком уж выпренне, неестественно прозвучало.

Анечка чуть отстранилась, глянула на запыхавшегося жениха сквозь стрелы опущенных ресниц. И сказала фразу, приведшую его в восторг. Право же, необыкновенная

девушка! Так отвечали своим старорежимным ухажерам только какие-нибудь графини, эдакая Наташа Ростова! Она сказала:

– Поговори сначала с мамой.

Он и опомниться не успел, как оказался женатым. Все устроилось так быстро! Ему не терпелось вступить в права мужа, а невеста и ее мать со снисходительными улыбками потворствовали ему. Подали заявление, заказали небольшой банкет, сшили для Анечки красивое платье. Он купил ей и будущей теще роскошные подарки – шубы. Анне – чернобурку, Римме – песца. Пусть носят, знай наших, и не вороти личика от «торгашей»!

И только когда он приволок домой мягкие тюки с шубами, Галочка вышла ему навстречу из кухни в ситцевом халатике. Она любила ходить дома босиком, и Вадим впервые обратил внимание, какие у нее некрасивые ступни – крупные, простонародно-костистые, с выдающимися у больших пальцев желваками.

– Галя, я... – сказал он и осекся. Он совсем забыл!

Забыл сказать ей, что женится. Вообще как-то запамятовал о том, что она у него есть. Так привык, что перестал замечать.

– Галь, я женюсь.

Она прижала к груди поварешку. Колени у нее подогнулись, Галина села прямо на пол и заплакала.

– Ну, чего ты... Ну, брось!

– О-ой, Вадик! А я-то как же?

– Чего ж ты, – пожал плечами Акатов. Он действительно пока не понимал сути претензий. – Здоровая молодая девка, ко мне никаким местом не приросла. Найдешь себе еще, и получше меня. Так?

– Так, – некрасиво, по-деревенски хлюпая носом, согласилась Галочка. – Только я думала...

– Ну, это уж твое дело, чего ты там себе думала! А я тебе ничего не обещал, и о любви между нами разговору не было.

– О-ой, Вадик!

– Да не вой ты! Галь, я ж тебя не выгоняю на улицу. Я у жены буду жить. А ты оставайся. Доучишься, поедешь обратно в свой этот, как его... Живи пока.

– Вадик...

– Да перестань меня так называть!

– Вадик, у меня ребеночек будет.

– Ребе... Чего-о? Как же это вышло?

– Я не зна-а-аю, Ва-а-дик!

И снова ревет, разливается.

Да, вот это была новость так новость. Вадим сел на корточки рядом с Галиной.

– Срок у тебя какой? Может, ты ошиблась? Ты у врача-то хоть была, деревня?

– Не была пока, нет...

– Так пойдя, пока не поздно! Сделай там чего надо, я тебе денег дам.

Тут она взвыла так, что у Вадима заложило уши.

– Да ты что орешь-то? С ума сошла?

– Я бою-юсь! И ребеночка жалко!

– Ну вот, жалко ей. А куда ты денешься с ним, а? Тебе доучиваться нужно, а потом тебя с маленьким ребенком ни на какую работу не возьмут. Всю жизнь себе поломаешь, дурында! Этого хочешь?

Она отчаянно замотала головой.

– Вот так вот. Ну, утри глаза и высморкайся. Пошли, покормишь меня. Что варила на обед?

– Суп... с фрикадельками...

– Давай сюда свои фрикадельки несчастные...

– Спасибо тебе, – сказала Галя, когда Вадим не без удовольствия дохлебал суп. Ничего

такой, наваристый.

– Да тебе спасибо!

– Нет, ты не так понял. Спасибо, что на улицу не гонишь.

– Ну что ты, – благородно покивал Акатов. – Я ж не изверг какой. Оставайся, живи сколько хочешь. Но если собираешься рожать, то лучше уезжай сразу. Галина, у меня теперь семья. И я не смогу...

Он дал Гале денег и позабыл о ней снова, как забывал все время до этого.

Сыграли свадьбу, и Вадим переехал к жене – таково было условие Риммы. Ей не хотелось выпускать Анечку из родительского гнезда.

– Если появится маленький, девочке будет трудно учиться, – пояснила она свою позицию.

Не вполне понятно, чем она могла помогать дочери, если сама с утра до вечера, а иной раз и с вечера до утра пропадала в своем институте, приходила хмурая от усталости и сразу валилась спать. На самом деле она просто боялась остаться на старости лет одна, Акатов это понимал, но возражать не стал. Себе дороже.

Анна действительно сразу забеременела. Вот странно, – узнав о том, что Галочка «в положении», Вадим ощутил только брезгливость, а теперь был даже, кажется, счастлив. Жена переносила свое положение тяжело, что-то у нее в нутре было не в порядке. Однажды утром она откинула одеяло и испуганно вскрикнула. На простыне были кровавые пятна, и в тот же день Анну положили на сохранение.

Больница была далеко. Каждый день Вадим с тещей собирали пакет питательной и легкой домашней еды – бульон, паровые котлеты, – и он ехал на другой конец города, сначала в промерзшем трамвае, потом две остановки на автобусе. К Анне его не пускали – дескать, карантин. Она только выглядывала из окна своей палаты на втором этаже, Вадим видел ее бледное лицо, припавшее к холодному стеклу, и чувствовал жалость к ней и страх за ребенка.

Как-то раз Акатов долго ждал автобуса и замерз. Ветер бросал в лицо пригоршни сухого, золотого снега, морозная взвесь мешала дышать, проникала даже под дубленку. Казалось, воздух уплотнился и сжегился, и никак не получалось сделать ровный, спокойный вдох. Серая одинокая птица тоскливо прижималась к стволу голого тополя, будто тоже устала ждать какого-то своего вороньего транспорта. Разбитые стекла остановочной будки обостряли чувство заброшенности и усиливали ощущение холода. Обрывки газет носились по кругу, и трудно было сложить целое слово из разорванных, разбитых букв: «Ускор... перест... нов... мы...» И машину поймать тоже никак не удавалось, бомбилы этот район не любили.

«Пора, пора обзаводиться собственным автомобилем. Посмотрим, как закроется следующий месяц, и возьмем иномарку. Многие не ездят зимой. Дураки. Интересно, кто родится? Анютка молчит, только улыбается загадочно. Ей, наверное, хочется девочку, помощницу. Мать, помнится, все вздыхала: одни, мол, пацаны, помощи по хозяйству не дождеши. Будет у меня уж совсем бабье царство. Посмотрим. Почему же так мерзнут ноги? Потому что я до сих пор хожу в осенних ботинках».

Задумчиво рассмотрел свою ступню в щегольском узконосом ботинке. Припомнил – где-то были и зимние, в прошлом году покупал. «Ленвест», хорошие ботинки. Да где же они? А-а, вот в чем дело. Ну да, как же он мог забыть.

Подошел автобус, но Вадим поехал не домой и не на работу, а на свою прежнюю квартиру. За зимними ботинками, дорогими, прочными, – продукция первого в России совместного советско-германского предприятия!..

Он открыл дверь своим ключом и тут же понял, что Галина дома. В кухне горел свет, а у порога жались сапожки. Правда, сапожки какие-то странные – войлочные, фасона «прощай, молодость». Неужто же Галину вздумала свизитировать ее бабушка, памятная Вадиму «подруга Надя»? Акатова передернуло – представился вдруг родственный скандал в лучших деревенских традициях: «Обрюхатил девку-то, оха-альник, женись таперича!» Но

нет, не то.

Галочка вышла из кухни. Она здорово изменилась – пополнела, смазливое личико расплзлось, как масленичный блин, глаза сонные, мутные...

Она очень изменилась, но Вадим пока не мог понять, в чем дело. Поэтому сказал:

– Привет, – и спросил, указывая на «прощай, молодость»: – Ты что же, не одна?

Глупо прозвучало, словно заподозрил ее в том, что она водит к себе мужиков. Но Галина правильно поняла, ответила:

– Это мои. У меня ноги распухают.

Только теперь до Вадима дошло. Она была в последнем градусе беременности.

– Ты что? – только и выдохнул Акатов. – Ну ты даешь, подруга...

– Вот так вышло, – даже как-то весело развела она руками, и Вадим вдруг почувствовал ее силу и правоту.

Галина стояла перед ним, толстая, цветущая, этакая богиня плодородия, и больше не боялась его гнева, не боялась, что он выставит ее из квартиры, потому что домом ей была вся земля, вся Вселенная. И он сдался перед этой торжествующей тучностью. Он только спросил:

– Тебе деньги нужны?

Галина улыбнулась, глаза прояснились, бровки-коротышки подпрыгнули вверх.

– Я не гордая, возьму. Все стало так дорого. Карточек мне без прописки не полагается, а без них совсем тяжело.

Ах да, карточки, припомнил Вадим. Так называемые «визитные карточки покупателя», или просто «визитки», предоставляли право коренным верхневолжцам и жителям области приобретать восемнадцать видов товаров – начиная с мяса и заканчивая мебелью. Их нужно было где-то получать, куда-то ходить, стоять в очереди... Кажется, он пренебрег этой бесценной возможностью. Как же Галина живет, на каких харчах? Но разве это должно его волновать? Он так много сделал для нее – позволил жить в своей квартире и не берет за это ни копейки. Даже сам дает ей денег, вот!

И он действительно дал ей денег. И согласился выпить с ней чаю. К чаю были пряники, по названию мятные, на деле каменные. Должно быть, из стратегических запасов, распатроненных по случаю конверсии.

– Что ты собираешься делать дальше? – поинтересовался максимально отстраненным тоном, чтобы Галина поняла – он никакого отношения не хочет иметь к ее будущему ребенку. Предупреждал ведь!

– Может, домой вернусь, – пролепетала она, комкая в кармане халата злосчастные купюры, выданные ей Вадимом. – Мои не знают ничего. Не представляю даже, что мать скажет... и бабушка...

– Не съедят же они тебя, – усмехнулся Вадим.

– Так-то оно так, но... У нас там с работой совсем плохо. Все закрыто. Мать на бирже труда стоит, живут на пособие и на бабушкину пенсию. О-ох!

– Ты чего?

– Живот прихватило. – Галина попыталась улыбнуться, но у нее плохо получилось. – Извини. Наверное, съела что-то не то.

– Ничего, не страшно, – ответил Вадим, соображая, что ему вроде бы пора уж и убираться восвояси. Но как уйти? Вон она как зажалась, сидит на табуретке согнувшись, лицо виноватое, на лбу выступили крупные капли пота. И внезапно вскочил, пораженный догадкой. – Слушай, а тебе уже не пора? Того?

– Нет! – вскрикнула Галя, и в ее глазах плеснулся такой страх, что Вадим понял, что ей действительно «пора того» и она сама прекрасно об этом знает.

– Так, я вызываю скорую.

– Я боюсь, – жалобно пропищала Галя, и ее слова напомнили Вадиму, как несколько месяцев назад он предлагал ей избавиться от ребенка, а она ответила ему точно так же – боюсь, дескать. Смешные бабы! И так – боюсь, и этак – боюсь.

– Чего уж теперь, – пробормотал он, вышел из кухни и тут припомнил, что телефона-то в этой квартире нет. Значит, придется стучаться в соседнюю квартиру. – Я к соседям, вызову скорую от них.

– Вадик, у меня уже все прошло!

– Как же, рассосалось! – с досадой парировал он. – Дурында...

Соседка, та самая некрасивая мать-одиночка, что когда-то мыла в квартире Акатова окна, восприняла визит Вадима с нескрываемым восторгом.

– Галочке пора пришла? Да, так примерно она и считала! Делилась со мной, да... Конечно, звоните. А вы, верно, квартирантку свою провести зашли?

«Морда противная, голосок ехидный, – про себя отметил Акатов, накручивая диск древнего телефона. – Не иначе Галина проболталась. Между бабенками такое заведено. Тем более эта – мать-одиночка, мужененавистница. Усядутся вечером и начнут «делиться», весь род мужской сволочить. Ну и плевать».

Когда он вернулся, Галина все так же сидела на табуретке, но у ног ее уже стояла небольшая сумка.

– Собралась уже? Молодец. Сказали, сейчас приедут за тобой.

– Вадик, не уходи, – прошептала сквозь сжатые зубы Галина. Ее, видно, снова скрутило. – Вадик, не бросай меня, мне страшно...

– Ну-ну, как же я тебя брошу, – успокоил ее Вадим, а на душе у него было смутно. А что, если Галку отвезут в тот же родильный дом номер 3, где лежит Анна? И как Вадим тогда будет ее... Да не ее, а их – навещать? А если они познакомятся, не ровен час, да начнут «делиться»? Бр-р-р!

Но его опасения были напрасны. Приехавшая машина скорой помощи – старая, разбитая, гроыхающая на ходу – повезла Галину не в новую, оснащенную современным оборудованием «трешку», а в печально известную Варламовку, Варламовский роддом.

Купец Варламов, богатейший волжский рыботорговец, задумал выстроить себе роскошное жилье, настоящий дворец, но пока постройка возводилась, купец разорился, а любимая супруга подалась в бега, и с кем – с оперным певцом, дававшим ей уроки!.. В общем, купил бедовый купчик на последние деньги револьвер и в пустой гостиной, где на лепнине еще не высохла позолота, а из окон открывался вид на Волгу, раздался гулкий выстрел. Поговаривали, что призрак неудачливого купца показывается порой на втором этаже дома, пугая рожениц и молодых мамаш, а персонал уже привык к сложностям. Им и без привидения хлопот доставало – роддом то и дело закрывали после очередного скандального происшествия. То санитарная инспекция встретит в коридоре крысу размером с новорожденного, то стафилококковая инфекция одолеет разом всех младенчиков, то батарея отопления лопнет и зальет кипятком предродовое отделение... Может, это дух купца гадил? Да ведь ему-то никакой пользы – роддом потом открывали опять.

Вадиму было жаль Галку, но подавать голос и требовать везти ее куда-то в другое место он, по понятным причинам, не стал. Да его мнения и не спрашивали, даже не предложили ехать вместе с роженицей.

– Не беспокойтесь, папаша, домчим в сохранности, – бросила ему на бегу насквозь прокуренная, лихая фельдшерица.

Он уехал домой, а поздно вечером, как вор, прокрался к телефону, висевшему у прихожей. Был час, когда Римма, говоря ее языком, «общалась с прекрасным», а словами зятя, «заводила волыну», то есть слушала классическую музыку. Сейчас из-за плотно прикрытых дверей ее комнаты неслись мощные органые аккорды, значит, можно было звонить спокойно.

Усталый женский голос, пробившись сквозь помехи, сказал Вадиму, что Родионова родила девочку, четыре килограмма, и мать, и новорожденная чувствуют себя отлично.

Через неделю Вадим подъехал на такси к Варламовке. Галина, удивительно похудевшая и похорошевшая, быстро сбежала по ступенькам крыльца, держа на руках объемистый, пухлый сверток.

«Как кошка!» – подумал Вадим. Он, по сути, остался деревенским парнем, и ему приятно было, что Галина такая здоровая и выносливая, что она так легко опросталась, словно баба на меже, что девка родилась аж на четыре кило. Знай наших! Вот Анютка что-то подкачала. Какой месяц в больнице, доктора сначала пугали выкидышем, теперь грозят кесаревым...

– Поднимешься, помотришь на девочку? – тихо спросила Галина, когда машина затормозила возле ее подъезда.

– Отчего же, – согласился Вадим.

Он поднялся и посмотрел на дочь. Она была пухленькая, бело-розовая, как дорогая клубничная пастила, и не плакала, а Вадиму казалось, что все дети ревут не переставая! Она захныкала, только когда захотела есть, и Галина, не стесняясь, не колеблясь, расстегнула пуговицы на своей блузке и дала малышке грудь. Уже не девичья была у нее грудь, а женская, туго налитая, с темно-коричневым соском, который девочка жадно ухватила ротишком. Внезапно Вадим подумал, что понимает, отчего художники вечно рисовали Мадонн с младенцами. Что-то есть в этом, даже в самой обычной бабе, вот как в Галке, например, начинает брезжить тайна, и глаза у нее светятся небесной синевой... Расчувствовавшись, он внезапно для себя поцеловал Галку в губы и быстро ушел, чтобы не натворить еще больших глупостей.

Но дело было сделано. Толстенная, розовенькая малышка, дочь, не шла у него из головы, к тому же Галка назвала девочку Дашей, рассчитывая то ли призвать на нее незримое покровительство покойной хозяйки квартиры, то ли смягчить сердце Вадима, который был привязан к тетке... Как бы то ни было, расчет оправдался.

У Анны же дела обстояли хуже. Вадим опасался даже ходить в больницу, каждый раз в разговорах врачей ему слышалась все более близкая угроза – его готовили к мысли, что ребенка сохранить не получится, все чаще звучали слова: «Вы так молоды, у вас еще будут детки». Но все же решились рискнуть, и сделали Анне кесарево сечение, и достали из ее конусообразного аккуратного животика мальчишку, пусть и недоношенного, но все же пацана! Он был очень маленький и сморщенный, как старичок, он не мог сам сосать и не плакал басовито, как полагается, а тихо, по-стариковски же хныкал, словно жаловался на свою слабость. Но все равно это был мальчишка, сын. Сын! Вадим был счастлив, хотя у него начались действительно тяжелые времена. То все были цветочки, а вот теперь пошли ягодки! Анну наконец-то выписали из больницы, а мальчика оставили, и к нему Вадим продолжал ездить, возить молоко, сцеженное женой. Вадиму казалось, что это будет длиться бесконечно, что его сын уже долгие годы прикован к постели... Но однажды его все же разрешили забрать домой, потому что жизнь мальчика отныне была вне опасности.

Родители были вне себя от счастья, но счастье их было трудным. Анна, нервная и издерганная после долгого заключения в больничной палате, после всех опасностей, что грозили ей и ее ребенку, не справлялась с сыном, боялась взять его на руки, боялась ему повредить, слушала его слабый плач и сама плакала вместе с ним. Римма, что бы она ни говорила раньше, помогала дочери мало, придерживалась своего прежнего образа жизни, только «общалась с прекрасным» теперь чаще, причем в наушниках. Зато настояла на том, чтобы мальчика назвали Сережей «в честь его деда, моего отца». Ну что ж, Сергей так Сергей, имя не хуже прочих.

Вадим старался помогать жене, но ему нужно было зарабатывать деньги, да и потом, не мог же он кормить ребенка грудью при всем своем желании! Потом у Анны кончилось молоко, и это неожиданно принесло всем облегчение. Вадим достал ящик детского питания – самое лучшее, французское! – оно Сереже понравилось гораздо больше, чем мамкина худосочная сиська, пацан стал поспокойнее и даже поправляться начал!

Любую трудность Анна воспринимала как катастрофу.

– За что мне такое? Опять отключили горячую воду, куча пеленок скопилась, что делать-то! А мои руки, во что они превратились от этой бесконечной возни с водой?

Вадим безропотно принимал претензии и делал, что мог, – добывал бумажные

подгузники, бывшие еще редкостью «памперсы», потом купил хорошую стиральную машинку и поставил в ванной дорогой водонагреватель. Машинку жена так и не освоила, и Вадим научился стирать пеленки сам – ему нравилось нажимать кнопочки, подсыпать порошок, глядеть в круглое окошечко на мыльный водоворот, нравился солидный гул, с каким машинка сливала отжатую воду. За все это немало было заплачено. Акатов тайком курил, присев на край ванны, но все думал: а как же вот деревенские бабы раньше детей поднимали? Хотя бы мать его – она троих детей вырастила, стирала в корыте руками, и ничего, ни разу не пожаловалась, только если уж слишком извозишься, наподдаст сзади скрученным в жгут полотенцем. И еще думал: а как же Галина? Справляется, ничего? Ей-то не привыкать, она не такая неженка, как Анна.

А она всегда находила на что пожаловаться:

– Я совершенно испортила фигуру, вынашивая твоего сына!

На ближайший праздник Анна получила в подарок дорогой велотренажер, хотя муж тайком думал, что, во-первых, полнота жену красит, а во-вторых, что она бы быстро вошла в форму, кабы чуть больше шустрила по хозяйству!

Но тем больше ему нравилось бывать в теткиной квартире. Там пахло детской присыпкой и молоком, там Галине удалось создать настоящий, уютный дом, а не просто жилье. Маленькие комнаты, низкие потолки, старая мебель – но всегда чисто, ногам приятно ступать по веселым дорожкам, тихо бормочет радио в прибранной кухоньке, пахнет пирожками, упитанная малышка гулит в кроватке. Хозяйка в роскошном халате, то и дело распахивающемся на цветущей груди, разливает чай и улыбается.

А дома... Дома, в «генеральских» хоромы, сквозняк гуляет по голому паркетному полу, углы огромных комнат всегда темны. В одной комнате теща наслаждается мазурками Шопена, в другой нельзя шуметь, там спит сынишка, а в кабинете Анна остервенело крутит педали тренажера и то и дело соскакивает, чтобы покрутиться уже перед зеркалом – замерить веревочкой свою талию. Трет шрам от операции кремами из разных баночек. Лучше б шей наварила, нельзя же мужика на одних бутербродах держать!

Тем не менее Вадим все так же любил жену. Просто Галина была проще, ближе... Она была ему ровня, и этим все сказано.

Акатов не мог бы припомнить, когда их связь возобновилась. Это произошло так естественно и обыденно, что некуда было вставить шикарное иностранное словечко «адюльтер». Все же Вадиму было не по себе, он был уверен – рано или поздно жена все поймет, ее озарит, и он попадется. Но Анна была занята преимущественно собой. И сыном. Как-то сразу так вышло, что Сережка стал маменькиным сыночком. Отец же сына всегда словно немного побаивался – тому способствовали и воспоминания о том, какой это был хрупкий младенец, несколько недель кряду качавшийся в стеклянной колыбельке между жизнью и смертью, и слова Риммы, которые она любила повторять – и за глаза, и в глаза зятю:

– Мой внук – не кто-нибудь! Он правнук Сергея Гордеева, а это был человек – не нынешним чета! Да, были люди в наше время! Богатыри – не вы!

По ее словам, выходило так, что Акатов не чета собственному сыну, Акатову-младшему, в чьих жилах течет кровь благородных и прославленных предков. Вадим отмалчивался, но электричество все же копилось в воздухе и нашло-таки себе лазейку. Как говорится в плохой беллетристике, ничто не предвещало беды в тот воскресный полдень, когда Вадим Борисович, окончив свой поздний завтрак, включил в гостиную телевизор и расположился в любимом кресле.

В прихожей запел звонок. Римма пошла открывать – она ждала к себе студенточку-практикантку, которая помогала ей писать статью. Но вместо кроткого шепота и шороха, которым обычно сопровождалось явления студентов, Вадим Борисович услышал невнятный гул, в котором слышались удивленный голос тещи и еще чей-то, явно принадлежащий мужчине и смутно знакомый. Недоразумение явно требовало вмешательства, но еще до того, как Вадим Борисович начал поднимать свое увесистое тело

из глубокого кресла, в гостиную влетела Римма, растерявшая по дороге большую часть своей изящной вальяжности.

– Вадим, это к вам, – сообщила она, задыхаясь не то от смеха, не то от возмущения. – Какой-то мужчина. Судя по всему, ваш отец.

Она называла Акатова то на «вы», то на «ты», в зависимости от собственного расположения духа и настроения, и Вадим никогда это настроение уловить не мог, не уловил и теперь.

– Отец? – предпочел удивиться Вадим Борисович.

– По крайней мере, он называл меня дорогой свашенькой, – делано-кратко пояснила теща. – И пытался подарить мне родственное лобзание.

Совершенно растерявшись, Вадим вышел-таки в прихожую. Гость топтался у дверей, где Римма сдержала его, очевидно, мощным волевым импульсом. Это был высокий худой мужик в засаленной, словно атласной телогрейке и ужасающе грязных сапогах.

– О, так вот он, Вадька! – обрадовался мужик. – Гляди ты, как заматерел, прям как бугай! Да ты бы лампочку засветила, сватья, – строго обратился неожиданный гость к обомлевшей от такой фамильярности Римме. – Дай с сыном поздороваться, сколько уж лет не виделись!

Римма хмыкнула, щелкнула выключателем. Мягкий желтый свет залил прихожую, и только тогда Вадим узнал отца и понял, что тот уже старик, а выглядит молодо только из-за худобы своей. Скуластое лицо с резко прочерченными морщинами, поседевшие и поредевшие волосы, нездоровые, желтые белки глаз да какая-то особенная заостренность черт выдают в нем тяжело и долгосрочно пьющего человека.

Совершенно машинально Вадим Борисович обнял отца, ощущая только кислый запах дешевых сигарет, солидола и сенной трухи. Римма Сергеевна благоразумно ретировалась.

– Ну-с, не буду мешать, вам, верно, надо поговорить. Да вы проходите, проходите в гостиную, сейчас я что-нибудь приготовлю, и...

– Не надо, не надо, – шепнул ей Вадим.

Теща сделала удивленные глаза.

– Я сам. И в гостиную не надо, мы в кухне посидим.

– Вот, это точно! Подальше от начальства, поближе к кухне! – поддакнул отец, и Вадим понял, что он тоже волнуется.

Впрочем, это не помешало ему достать из брезентового заплечного мешка бутылку перламутровой самогонки. Мотанул сосудом и посмотрел на сына вопросительно. Вадим покачал головой, выставил коньяк. Нарезал лимон, потом покосился на отца, достал колбасу, сыр, холодную курицу. Борис Иванович вынул из кармана пачку «Примы», покосился на сына, постучал сигаретой по столу, насорив табачной крошкой. И тут в кухню всплыла тещенька – что-то ей такое занадобилось – и тут же отдала распоряжение:

– Вадим, что же вы гостя холодным потчуете? Время обеденное, тут есть бульон, котлеты... – и удалилась, напоследок поставив перед гостем невесть откуда извлеченную керамическую пепельницу.

Вот так фокус! Вадим удивился. Выпив и закусив, Борис Иванович оправился от смущения и пояснил цель своего родственного визита:

– Хозяйство у меня, понимаешь, совсем заглохло, идрить его... Хатенка о позапрошлом годе почти вся сгорела, еле поднял, да все равно – потолок дырявый, еле дышит. Я и сам, скажу тебе, прихварывать начал. Так, идрить твою, живот прохватит, хоть ты вой... Лечить, говорят, надо. В районный центр ездил, говорят, лечить надо поджелудочную. Так ведь денег нет ни шиша, пенсия с гульки хрен, зарплату не плотют. А везде надо подмазать. А хозяйство, понимаешь, совсем заглохло...

– Как ты меня нашел? – думая о чем-то своем, спросил Вадим.

– Так, идрить... Зашел к тетке твоей, то есть в квартиру ейную. Там бабеночка мне адрес дала.

Борис Иванович наклонился к сыну, подмигнул ему:

– Квартирантка, что ль? Гладкая бабенка, и девочка у ней крепенькая. Наша порода, сразу видать.

– Да ты чего, батя! – отшатнулся Вадим.

– Да ладно, мне-то не свисти. Дело такое. Слыхал, как у мусульман, – сколько жен можешь прокормить, столько и бери, никто слова не скажет. А ты неплохо зажил, я смотрю. Обстановочка, закусочка... Вот и подумал: может, поможешь чем... Отец я тебе все ж таки.

Вадим вздохнул с облегчением – разговор перешел в понятную, знакомую ему сферу денежных операций. Борис Иванович смотрел заискивающе.

Непутевую он жизнь прожил и сам об этом знал. Хозяйством занимался мало и плохо, работать не любил, а любил только выпить в хорошей компании да еще разве посидеть на бережку реки с удочкой. И поплавок обязательно чтобы гусиный, с красной макушечкой! Жена ему досталась сварливая, а может, спервоначалу-то она не такая была, а испортилась от нелегкой доли. Сыновья росли как грибы, самосейкой, и порядком досаждали ему, еще когда лежали в пеленках – ночным писком, а как подрастут, им то штаны, то башмаки подавай. И вдруг в одночасье все кончилось. Он остался один, свободным, никто не досаждал, ничего не требовал, и тут-то выяснилось, что так жить невозможно! Первое время еще куда ни шло, а потом все хуже и хуже, а тошнее всего от одиночества. Не с радиоприемником же ему разговаривать? Написал жене, просил или вернуться, или уж и его забрать с собой, но ответа не получил. Кому он нужен, старый пень? Конечно, он и не надеялся, честно говоря, что сын возьмет его жить в эту огромную и слишком чистую квартиру. Он бы здесь и дня не продержался. Тут, видать, всем сватья заправляет, а у ней хара-актер! Но может, сын денег сунет, а там и сам нагрянет в родную деревушку? С женой, с детками – вроде как на каникулы. А то так и сдохнешь один, как пес. Как ни крути, а брюхо и правда прихватывает, особенно после поддачи. Лекарство прописали, а оно дорогое...

– Так я тебе говорю, не тушуйся. Оно чем детишек больше, тем лучше. Я вот...

– Да уж... ты, – не сдержавшись, бросил Вадим и тут же пожалел о своих словах. – Прости, батя.

– Чего там. А с женой-то у вас, чать, детки имеются?

– Есть. Сын Сережа.

– Сережка, – умильно повторил Акатов-старший. – Я вот гостинца ему захватил... Так он, поди-ка, на карамельки и глядеть не захочет.

– Отчего же, – возразил Вадим Борисович, в ужасе уставившись на слипшиеся в бесформенный ком подушечки, которые отец горкой вывалил на стол из бумажного кулечка. – Только его нет сейчас... С матерью гулять пошел, в парк.

– В парк, ишь ты, – снова умилился невесть чему Борис Иванович. – Вот приехали бы ко мне весной, небось лучше парка. Дачи покупать не надо! Сад свой, лес рядом, речка. На рыбалку, ранехонько... А грибы пойдут!..

– Посмотрим, – кивнул сын.

Повисло неловкое молчание.

– Мне уж скоро идти пора, а то на электричку не поспею, – промямлил Борис Иванович.

Вадим встал и вышел, но вернулся быстро и сунул отцу в руку плотный сверток. Борис Иванович заскорузлым ногтем царапнул газетную бумагу и смутился, засуетясь, сразу став меньше ростом.

– Чего ж так много... Я ведь так, по-родственному только, навестить...

– Бери, бери, батя, – с некоторым облегчением произнес Вадим Борисович. – Давай-ка на посошок. Да не бойся, не опоздаешь на свою электричку. Поймаем бомбилу, мигом домчит...

Прощание, как часто бывает, вышло гораздо более прочувствованным, чем встреча. Тещенька вообще отличилась – вытащила в прихожую огромный баул и заявила, приветливо улыбаясь:

– Вот, Борис Иванович, не побрезгуйте, бога ради. Я вам собрала кое-что из вещей

Вадима и от мужа моего кое-что... Тут пальто, костюм, рубашки. Есть вещи еще хорошие, есть неприглядные, но крепкие, так в деревне форсить не перед кем, верно? Ботинки есть добротные, не знаю, подойдут ли.

– Это так дело! – обрадовался отец. – Вот спасибо! А то я все в кирзачах, аж ноги преют...

Вадим покосился на тещу недоверчиво, но вдруг постиг причину такого ее доброхотства. Награждать поношенным платьем бедных родственников, а также крепостных и прочую дворню – это же вполне в ее стиле! Ба-арыня! Внезапно он ощутил такой прилив классовой ненависти к Римме, что даже виски сжало, но скоро прошло.

– Ну уж, и вы к нам пожалуйста в свой черед, – объявил отец. – В Акатовке-то у нас весной одна грязища по самые эти самые, а вот летом благода-ать! Выйдешь, бывало, на берег – итить твою печенку, красота-то какая!

Они курили у самого подъезда, будто переступив какую-то незримую границу, и вдруг откуда ни возьмись – Анна с Сережкой.

– Папа, ты куда уходишь? – с удивлением спросил мальчик, рассматривая незнакомца.

– Это вот и есть, значит, Серега, – обрадовался Борис Иванович и потрепал внука по плечу. – Я б его и на улице узнал. Ишь, глазищи! Наши глаза, акатовские... Ну, давай, внучек, бывай здоров, расти большой, не будь лапшой. Я еще приеду, закорешимся с тобой... На рыбалку-то ходил когда-нибудь? Приеду... И ты ко мне, смотри, приезжай.

Все вместе проводили Бориса Ивановича и вместе вернулись домой. Вечер был тихий, только звонко падала капель. «Огород скоро копать», – невольно подумал вдруг Вадим, и тряхнул головой, и сам рассмеялся.

– Ты что? – спросила Анна. Она сегодня была в хорошем расположении духа и особенно красива в новом светло-сером пальто.

– Идем домой. Приятно идти домой.

– А это кто был? – осторожно спросил Сережа. Он помалкивал все это время, будто что-то обдумывая.

– Это твой дедушка.

– Так ведь дедушка же умер...

Вадим Борисович даже споткнулся. Вот черт – неужели он когда-то соврал семье, что его отец скончался, и сам забыл об этом? Но сообразил – Сережа имеет в виду единственного до нынешнего дня знакомого ему дедушку, покойного батюшку Риммы Сергеевны, в честь которого и назвали мальчика. Он видел множество фотографий – начиная с тех, где Сергей Гордеев изображен в виде наголо бритого бутуза в косоворотке, и заканчивая изображениями представительного мужчины с медалями на молодецки выпяченной груди.

– Нет. Умер мамин дедушка. А это приезжал мой папа, понимаешь?

Сережа совершенно по-взрослому покосился на отца.

– Он приехал потому, что соскучился?

– Да.

– А еще приедет?

– Не знаю. Наверное. Или мы к нему приедем. Ты хотел бы поехать летом в деревню?

– Мне кажется, мы не поедem, – по-взрослому вздохнул мальчик.

Придя домой, Сережа обнаружил на кухонном столе бумажный кулек с карамельками.

– А это откуда? – поинтересовался он, рассматривая конфеты – зеленые и розовые подушечки.

– Это твой дедушка тебе гостинец принес, – усмехнулся Вадим Борисович. – Да тебе, брат, такие карамельки в диковинку... А я в детстве только их и знал.

Он унес кулек и спрятал его в свой письменный стол. А потом, пока женщины возились на кухне, а сын смотрел по телевизору старые выпуски «Ну, погоди!», Вадим закрылся в кабинете, достал из пакета подушечку и сунул в рот. Покалывают язык крупички сахара, липкая сладость, запах черносмородинового экстракта...

Припомнилось вдруг: мать собирает на стол немудрящий ужин, а отец возвращается,

припозднившись, и уж по тому, как старательно он разувается, умачивает грязные сапоги в уголке, как откашливается, и по тому, какие устало-неприязненные взгляды бросает на него мать, Вадик понимает – батя выпимши. Батя не спешит идти к столу, он подмигивает сыну, шарит в кармане ватника и достает горсть разноцветных конфет-подушечек. Кое-где на них поналипли хлебные и табачные крошки, но вкус-то от этого всяко хуже не стал!

– Купил в сельпе, – шепчет батя, дыша сыну в лицо самогонкой и луком. – Тш-ш-ш, мамке не говори!

Но мать все сама видит, и на ее круглом, румянном лице появляется тень улыбки. Она мучительно нежно, сама удивляясь этой нежности, любит своего младшего сына, «поскребыша» своего, и то, что муж, пусть даже непутевый и вечно пьяненький, не забыл про него, купил ему конфет на гривенник, согревает ей душу.

Вадим Борисович жует конфету и даже не чувствует, что по его лицу текут слезы. Внезапно он вспоминает, что отдал отцу деньги, предназначенные на именинный подарок жене. У него заведено дарить Анне драгоценности, она ждет, а свободных денег уже не осталось. Делать нечего, она получит брошь с камеей – старинную, драгоценную, теткину. И когда глаза жены сверкнули как алмазы, когда она горячо обняла его за шею, не отводя взгляда от подарка, Акатов ощутил даже что-то вроде благодарности отцу. Впрочем, он скоро о нем позабыл.

Глава 5

В доме после визита деревенского родственника остался витать запах крепкого табака. Проходя коридором, Римма чувствовала этот запах, и у нее вздрагивали тонкие ноздри, вздрагивало и что-то в душе. Много, много воспоминаний разбудил этот мужественный запах... Алексей тоже курил дешевые сигареты без фильтра и, бывало, говорил роптавшей жене:

– Не может же у меня совсем не быть недостатков!

И теперь, много лет спустя после развода с мужем, Римма лучше всего помнила не лицо его, не голос, а его руки – очень большие, очень белые, с выпуклыми ногтями пальцы вкручивают сигаретку в янтарный мундштук. Алексей был талантливым хирургом, внимательным мужем, трепетным отцом, а если и находились у него недостатки, так ведь Римма сама его выбрала!

Она все себе выбирала сама, она была хозяйкой своей судьбы, этому учил ее обожаемый отец, и она прочно усвоила науку. Решила поступить в медицинский институт и поступила, хотя и не с первого раза. Требовали ее амбиции красного диплома – получила и красный диплом. Талант у нее был, да ведь на одном таланте далеко не уедешь, тут знания нужны, зубрежка! И после института захотела попасть на практику не куда-нибудь, а в НИИ кардиологии, и попала, пусть тут и не без папиной помощи обошлось! А там попался ей на глаза Алексей Лазарев, такой красивый, веселый, преуспевающий... И женатый.

«Немного женат», – шутил он в курилке, оттопыривая палец с толстым, щегольским обручальным кольцом. Римма не курила, не выносила запаха дыма, но таскалась в курилку как зачарованная. Краем глаза следила из ординаторской, как он пройдет по коридору, и слышала за спиной смешки коллег. Влюбилась практиканточка-то, ну да ведь не она первая, не она и последняя! Но вскоре смешки утихли. Тут уж не до смеху – практикантка с хирургом развели прямо на рабочем месте вполне определенный романчик, невзирая на женатое состояние хирурга! Кого бы другого в таких обстоятельствах за ушко да на солнышко, а только Лазарева поди-ка тронь! У него заступников много, им весь НИИ держится! Такого обидишь – вмиг переманят в столицу! Поэтому на отношения Лазарева и Риммочки коллектив дружно закрывал глаза. Но эти двое не остановились на достигнутом, практикантка (теперь уже полноправная сотрудница НИИ) пошла дальше и развела-таки Алексея с женой, вот уж этого никто не ожидал!

Почему, кстати? Быть может, из-за пресловутого общественного осуждения? Так ведь

развестись с женой и соединиться в законном союзе с новой пассией всяко уж моральнее, чем обманывать супругу и предаваться с той же пассией любви вне закона! Но в те времена мораль была и строже, и запутаннее, официальные ее проявления носили подчас характер карательных мер. Бывало, крутится неверный супруг, как угорь на горячей сковородке, в спину дышат завистники и любители подсидеть, в лицо неотрывно глядят профком с месткомом и парткомом, справа всхлипывает страдальца-жена, а слева краля тербит за рукав и вопрошает, пиявица ненасытная:

– Когда же ты, милый, с постылой-то своей разведешься?

А он ей:

– Не могу, разлюбезная: партком с профкомом не велят!

Так похороваются кой-какое время, а там, глядишь, и рассосется все. Но вот что интересно – и в нынешние более чем свободные времена, когда о парткоме уж никто не поминает, мужья все так же неохотно уходят от постылых жен к разлюбезным краleckам!

А вот Лазарев ушел, не побоялся. Умное обаяние Риммы пересилило все: и узы привязанности, связывавшие его с женой, и страх, и моральные соображения... Кстати, институтские сплетники ошибались насчет их отношений. Истина состояла в том, что до самой свадьбы, тихой свадьбы в семейном кругу, Риммочка не позволила влюбленному хирургу ничего, кроме самого целомудренного поцелуя, а он и требовать ничего не мог. Вот и говори потом, что врачи все циники!

Первую супругу своего избранника Римма представляла себе плохо. Жену Лазарева звали Нинель, и Риммочке казалось, что обладательница такого имени непременно должна быть дородной, мордатой, с шестимесячной завивкой и в ярком наряде. Римма очень удивилась, когда ей как-то показали обманутую жену. Она была нехороша собой – сутулая, с короткими ногами, с бесцветными глазами, с серой кожей. Только волосы у нее были хороши, такая густая, богатая коса, что казалось, эта коса, будто змея, высасывает все силы из тела своей хозяйки. Нинель работала в регистратуре одной из городских поликлиник, Алексей ее туда и пристроил. Она была сирота, выросла в детском доме. «Дворянжка, – вынесла свой безжалостный вердикт Римма. – Могла бы выглядеть чуть лучше, поработай она над собой. Приодеться, подкраситься, влезть на каблучки, сделать красивую прическу... Но никуда не денешь выражение лица, как у дворовой собачонки, которая не знает, приласкают ее или дадут пинка. Такие женщины точно знают о себе, что любви они не стоят, потому и никогда не получают ее».

Как-то Алексей рассказал ей – с сентиментально-глуповатой улыбочкой, которая ей совсем не понравилась, – что, когда они поженились, у Нинельки были одни-единственные туфли на все сезоны, и потом, она не умела даже заварить чай! Скажите пожалуйста, какая сиротка Марыся сыскалась! Зато теперь Алексей оставил ей все нажитое, ничего не взял в новую жизнь, кроме книг по кардиологии и папки со своей докторской диссертацией! Осталась брошенная жена в трехкомнатных хоромах в центре города, среди ковров и хрусталя. Детей у них не было.

Тут сыграла немалую роль и матушка Лазарева, всерьез невзлюбившая свою невестку. «Неряха, распустеха, бездомница» – иного имени для Нинельки у старушки не было. Все ей было не по нраву, а главное, что внуков приبلуда отчего-то не рождает. Так что явившуюся Римму будущая свекровь приняла как избавительницу, только что ключи от города ей не вынесла! Она тоже считала первую жену сына приبلудной дворянжкой. А на Алексея его мать имела кое-какое влияние, и потом... он тоже очень хотел детей.

И Римма поторопилась родить ему дочь, а потом – еще одну.

Ей самой хотелось мальчика. Мальчик лучше девочки, ему лучше живется на свете, мальчику легче пробить себе дорогу в жизни. К тому же и дед порадовался бы внуку, наследнику. Алексей был рад и дочерям, но с него-то что взять...

Невольно, быть может, Римма относилась к мужу как к своему трофею. Древний инстинкт охотницы повелевал ей: поднять добычу из густого подлеска, погнать ее, задыхающуюся от ужаса и восторга, диким гортанным воплем и, настигнув, прикончить

одним ударом. С этого момента добыча полагалась убитой, с ней не приходилось считаться, ее мнение в зачет не шло. Римме было к кому прислушиваться, разве не за тем у нее есть папа? В сущности, она была замужем за своим отцом.

Папаша и сам был в свое время парень не промах, и, как говорили о нем за глаза, «двух жен пережил – и еще переживет!». На самом деле Сергей Гордеев был женат не два, а три раза, и три раза вдовел, причем каждый раз при загадочных и роковых обстоятельствах. Даже сама Римма Лазарева, в девичестве Гордеева, не знала многих подробностей из жизни своего почитаемого батюшки.

Первую жену Гордеева звали Зоя, Зоя Серебрякова. Балованная, капризная, советская принцесса. Папаша при чинах, старый большевик, в партии с пятого года, а ныне – большой начальник, всем автотранспортом ведает. Пожили два года, и тут тестюшка не уберется. Арестовали в тридцать седьмом – оказался, как водится, врагом народа, троцкистом, вредителем. Сам признался: устраивал, мол, катастрофы на транспорте, подготавливал, страшно сказать, террористический акт против Молотова.

Но газетные передовицы о процессе над «презренными убийцами и предателями» Гордеев читал уже сидючи в другом городе. Жить с дочерью врага народа было неоправданным риском! Не до милого дружка – до своего брюшка! Серебрякова расстреляли, красивая и капризная Зоинька сгинула в лагерях, а Гордеева пронесло. Редкий случай – не тронули, просмотрели. Или хранило его что-то? Гордееву полагалось быть атеистом, он и был.

Он прошел всю войну, был ранен, имел награды, и коль имелась за ним какая вина, искупил ее до дна. Зарекся было не жениться никогда. Демобилизовался, уехал в провинцию, пошел работать – восстанавливать крупный завод. И тут судьба вновь нашла его в лице дочери директора завода Ольги. Она была постарше Гордеева, но румяная, разбитная, все-то хохотала, и от этого казалось, что зубов у нее во рту гораздо больше, чем обычно бывает у людей; эта успела побывать замужем – выскочила наспех в сороковом, овдовела в сорок первом. От недолгого брака у нее осталась девочка, дочь.

Гордеев женился на веселой вдовушке, поддавшись веселому напору Ольги, и одно время ему даже казалось, что он любит свою жену. Она обожала праздники, пикники, красные платья, запальчивый восторг демонстраций, охотно и даже восторженно принимала гостей и не дура была выпить-закусить. Дочку она то неделями не видела, оставляя на попечение бабушки и няньки, то тетешкала целыми днями, как младенца. Гордеев не мог понять этой запойной жажды жизни, и кое-что прояснилось для него в тот день, когда, вернувшись со службы домой, Гордеев жены не нашел, а застал чудовищный беспорядок, в спальне вся постель была перевернута, шкаф зиял разноцветным тряпочным нутром, а на ковре, посреди розовых роз, остался стоять таз с розовой водой, будто тоже огромная роза. Заплаканная домработница сказала, что у хозяйки открылось кровохарканье и ее увезли в больницу. Первая мысль Гордеева была о туберкулезе. Черт, ведь она и его могла заразить, этого еще не хватало!

Но у его жены был не туберкулез, а митральный порок сердца. Когда ее не стало, Гордеев с головой ушел в работу.

Он остался фаворитом тестя, его правой рукой на заводе – тот умел ценить преданность, ум и деловую хватку Гордеева, да и потом, юная падчерица очень к нему привязалась.

Она была умненькая и сдержанная девочка, такая не похожая на мать. Отличница, гимнастка, тихоня...

Годы шли, Гордеев все силы, все время отдавал заводу, завод воздавал ему сторицей. Уже имелась хорошая квартира, две машины в гараже, дача в два этажа, уже он начал полнеть, и все чаще настигал, брал за горло ужас: зачем все это? Для чего? Неужели же и жизнь пройдет вот так?

Он задумывался в те, по счастью, редкие минуты отдыха, что ему выпадали, и вздрагивал, и вдруг ловил на себе пристальный взгляд падчерицы.

– Вам надо жениться, дядя Сережа, – сказала она ему как-то. – Мне кажется, вы одиноки.

– На ком же, Лелечка? – спросил он ласково.

– Да вот хотя бы на мне.

Он покосился на нее – шутит? Глаза не смеются, строга линия губ, но кругленький подбородок дрожит – от смеха? от волнения?

– Я вас люблю, дядя Сережа...

Неужели для него еще возможно счастье, неужели вот эта юная, с чистыми глазами... Волосы ее пахнут яблоками, тело – свежим хлебом, и все это может принадлежать ему?

Она не была ему родня даже и по документам – удочерения не оформляли, Леля оставалась дочерью командира, канувшего где-то в окружении под Белостоком. Но сомнение острой иглой вошло в душу Гордеева: имеет ли он право на ее любовь? Заслужил ли? И вся прошлая, прожитая жизнь отвечала ему: нет, нет, откажись, не губи ее! Но соблазн был слишком велик, и он женился.

Через год Леля произвела на свет дочь, а еще через год ее унесла та же болезнь сердца, что погубила ее мать. У Гордеева от нее остались только дочка Римма да еще коробка елочных игрушек, она обожала елочные игрушки. Самая хрупкая из них оказалась прочнее ее жизни.

Гордеев остался один с маленьким ребенком на руках. Сначала он чувствовал себя очень несчастным, но потом отошел, забылся и посвятил себя воспитанию дочери. Он свыкся с мыслью, что ему суждено прожить жизнь вечным вдовцом, и не только смирился с этим, но и находил некую прелесть в своем положении. Во время застолий развлекал гостей рассказами о том, как в юности он побывал на Чукотке, как полюбила его там красотка – дочь шамана, тоже шаманка, как завлекала его, что даже пришлось ему бежать на материк.

– Чует мое сердце, – заканчивал он, – чует, что эта дикая семейка вроде как проклятие на меня наложила, да только я все равно верх взял, решил не жениться больше, и точка! Что тебе положить, деточка?

Соленые подробности он приберегал на время, когда дочка пойдет спать. За столом Риммочка сидела рядом с отцом и ела из его тарелки. У нее рано проявился характер, была она строгой, сдержанной, немного замкнутой, сверстников сторонилась, больше держалась отца, а ему того и надо было. Гордееву хотелось, чтобы она выучилась на врача, все повторял малышке:

– Доктор – самая лучшая профессия. А главное всех – сердечный доктор, потому что важнее сердца в человеке ничего нет. Вырастешь, выучишься, тогда...

Тут Гордеев замолкал – он не знал, что будет «тогда». Умерших не вернуть, они уходят без возврата, несколько лет пролетит – и вот ты даже уже не можешь вспомнить дорогого облика, он облекается в туман и утекает сквозь пальцы... Или это старость уже подкралась? Ведь говорят, старики хорошо помнят все давно минувшее, а что вчера было – не упомянут. Вот и Гордеев – забыл, как выглядела, как говорила, как смеялась его Леля. Зато хорошо помнил он давно минувшее, ненужное, то, чем смешил подвыпивших гостей: ту самую девчонку-чукчу, с которой связался по глупости много, много лет назад. Да, было дело на Чукотке...

Молодой был, глупый, комсомолец кудрявый, поехал строить советскую власть куда Макар телят не гонял! Да вовремя очухался – места дикие, люди чудны́е. Живут как звери и едят как звери – сырое мясо. Понравилось ему только, что песцовые шкурки дешевые да что девки нежадные, без корысти. А та, которая ему принадлежала, была краше всех – тонкая, перегибистая, черноглазая дочка шамана. Горячо она умела ласкать, склонялась к нему белеющим в темноте лицом, и черные косы падали ему на грудь, и лился жаркий шепот – ни слова не понять, а все же приятно... Жаль было ее бросить, да куда деваться? Не с собой же везти! На Чукотке куда ни шло, а там, на Большой земле, пожалуй, задразнят: «Твоя моя не понимай!» А как она плакала, прощаясь! Неужто любила, неужто знали и эти полулюди-полузвери, жившие в вечном сумраке, пахнущие дымом и жиром, что такое

любовь? Или и были они самые что ни на есть люди, да только Гордеев по молодости и глупости этого не понял?

Дело-то прошлое. Привез с Чукотки Гордеев денег немного, да шкурок песцовых, да ожерелье – костяные бусины, на них костяная же фигурка совы. Ее ожерелье. Взял без спросу, на память, да только и она не внакладе осталась. Все барахлишко, патефон, машинку швейную, винчестер – все бросил, не переть же с собой на материк! И память свою тоже будто там оставил, столько лет не вспоминал, а теперь вот вспомнил... Зачем? Маета одна.

Но все равно просыпался ночами, сухими глазами глядел в потолок.

«Неужели – любила?»

Дочка выросла, выучилась, выбрала себе мужа. Все, как отец ей внушил.

А он совсем перестал спать.

Бессонница накатывала неотвратимо, волнами. Он слышал звук прибоя, шорох гальки, видел, как отплывает, растворяется в тумане неприятный северный берег, и видел женщину, что металась по берегу, как подстреленная птица, изнывая от муки... А со стороны океана уже надвигалась черная тень – альбатрос раскидывал свои белоснежные крылья, кто видел таких огромных альбатросов, нет и не было таких... Да полно, птица ли это? Как надрывно-печален ее крик! Или это кричит оставленная на берегу женщина?

И в одну из таких ночей он отбыл в холодный, соленый океан небытия – на своей узкой и зыбкой, как челн, кровати, сжимая в руках ожерелье – костяные бусины, фигурка совы. А на лицо его легла черно-синяя тень, словно от крыла огромной птицы.

• • •

Старшая дочь Нина уже два года как училась в Москве, в историко-архивном институте, младшая с отличием заканчивала десятый класс, и Римма стала замечать за мужем некоторые чудачества. Ей уже приходилось ловить его на изменах, хотя Римма отнюдь не занималась слежкой. Но бывало, находились доказательства, от которых нельзя было отмахнуться, и тогда она отчитывала Лазарева, как провинившегося школьника, наслаждалась его смущением. Но в душе Римма давно примирилась с неверностью мужа. Алексей все еще красив, у него темперамент, а вокруг много женщин – молоденькие медсестры, благодарные родственницы пациентов! Разве можно строго его судить, если он заводит легкую, ничего не значащую интрижку? Тем более что прелюбодеяние мужа дает ей неоспоримое первенство в семейном тандеме – подавленный ее правотой, он мог только слушаться, да почитать свою половину, да баловать ее и дочерей маленькими сюрпризами!

Всякий раз это протекало одинаково, и Римма только поражалась бестолковости мужа, неспособного замаскировать свои амурные похождения. Алексей начинал более тщательно следить за собой, покупал новую сорочку, галстук или ботинки. Потом, где-то между покупкой щегольского галстука и запахом вульгарных, сладеньких духов («Почему потаскушки, охочие до чужих мужей, всегда пользуются приторными духами?» – размышляла Римма), являлись «вещественные знаки невещественных отношений». Начинались упорные звонки по телефону – неизвестный абонент упорно не желал говорить с Риммой, а вот с Алексеем общался охотно, но все по деловым вопросам. На новенькой сорочке мужа появлялись следы губной помады, на пиджаке – чужие волосы. Обманутая жена определяла масть соперницы и посмеивалась про себя. Обычно на этой стадии наступала развязка – накопленные доказательства предъявлялись неверному мужу. Дальше тянуть было нельзя, Римма не любила, когда окружающие начинали видеть в ней доверчивую дуру и пытались доступными им, немудрыми способами «раскрыть ей глаза». И все – после легкой взбучки, преподнесенной в самых великосветских тонах, муж оставлял свою однодневную забаву и по крайней мере полгода был шелковым, а потом все начиналось сызнова.

Теперь ничего этого не было – ни звонков, ни духов, ни следов помады. Но все трудней и трудней было объяснить частые отлучки Алексея, его ночевки вне дома, его неловкую

ложь.

– Понимаешь, был у Скородумова, играли в преферанс.

– На линии была авария, троллейбусы не ходили, а такси не поймать.

– Я звонил, но было занято. Наверное, Анечка опять весь вечер висела на телефоне? Я так и подумал.

Анна простилась со школой, поступила в университет и уехала в колхоз «на картошку». Наступила золотая осень – невиданная по красоте, невозможная. После ясной звездной ночи из невидимых пор остывающей земли поднимался туманец и потом быстро исчезал, поднимаясь к небу, и синее небо казалось больше и глубже океана. И такая тревога звенела в воздухе тонко натянутой струной! Такая неотвратимость была в невесомом полете листьев! «Что-то должно случиться, должно случиться», – настойчиво выстукивало сердце, и Римма каждый день звонила дочерям – Ниночке в Москву, на вахту общежития, Анечке в заволжские степи, в сельсовет. Там – ей отвечал церемонный старушечий голос, там – добродушный матерок председателя колхоза, но везде все было в порядке. Так что же тогда?

– Римма, нам нужно поговорить.

У нее даже сердце не екнуло.

– Слушаю тебя.

– Я ухожу.

Римма помахала головой, словно отгоняя навязчивую осеннюю муху.

– Что?

– Я ухожу от тебя к другой женщине.

– Алеша, ну что ты придумываешь? К какой еще другой женщине? У тебя что – очередная пассия? Романчик? Так крути романчик, я тебе не мешаю, только не приставай ко мне с этими глупостями!

– Я говорю серьезно.

– Хорошо. Давай поговорим серьезно.

Она села, подчеркнуто тщательно оправила юбку, положила руки на подлокотники кресла, откинула голову – приготовилась слушать. Но муж молчал.

– Молчишь? Хорошо, я сама тебе все расскажу. Ты встретил некую молодую особу. Шуструю, миловидную. Она оказывала тебе недвусмысленные знаки внимания, и ты, старый ловелас, не устоял. Сюжет банальный, в литературе не раз описанный. Теперь вы решили строить новую жизнь. Но, Лешенька, посуди сам, куда тебе – в новую-то жизнь в твоём возрасте да с твоей подагрой? У тебя двое детей. Девочки взрослые, все понимают. Тебе будет неловко перед ними, когда через некоторое время ты вернешься домой, потому что твоей новой пассии вовсе не улыбнется возиться с тобой, готовить тебе диетические супчики и делать массаж. А впрочем, как знать... Это что, наша новая медсестра? Такая задастая, прости за выражение?

Он наконец разомкнул уста:

– Нет. Римма, я возвращаюсь к своей первой жене. Я понял – наш с тобой брак был ошибкой.

Римма Сергеевна даже присвистнула. Она еще не осознала объемов катастрофы, она еще была настроена на юмористический лад.

– Ты понял это через двадцать лет? Что и говорить, самое время.

– Лучше поздно, чем никогда.

– Ты начинаешь говорить банальности, милый мой. Объяснись, будь добр.

И он объяснился.

Напрасно она его недооценивала, вот что.

Он все прекрасно понимал.

Он понимал, что Римма не любила его. Никогда. Что вышла за него замуж потому, что сочла это нужным и выгодным для себя. Хотя, при своих данных, могла бы найти мужа и поинтереснее. Тут Римма приосанилась, поправила руками причёску – он прав, дуралей, она тогда была ух как хороша, да и сейчас еще ничего!

– Тебе так и не удалось полюбить меня, так ведь? Даже после рождения девчонок. Я ждал, я надеялся. Я слышал, женщины начинают иначе относиться к отцу своих детей, и слышал, что в них пробуждается особая нежность к мужу. Ничего этого не произошло. И ты вздохнула с облегчением, когда я начал изменять тебе, ведь так? Знаешь, это было унижительно. Ты сама вынуждала меня к этому...

– Вот как?

– Хорошо, я не хочу с тобой спорить. Но ты мирилась с этим. Знаешь, я надеялся, что хотя бы ревность пробудит в тебе любовь ко мне. Но – нет. Ты можешь подумать, что я оправдываюсь, только...

Тут терпение Риммы кончилось.

– Да что ты хочешь сказать! – вскрикнула она. – Алеша! Я... Я же люблю тебя!

– Нет. Поверь мне, нет. И не то страшно, что ты обманываешь меня. Страшнее то, что ты обманываешь себя. Жизнь без любви ужасна.

Он тратил слова зря – она его не понимала.

– Если бы была жива твоя мама! И мой отец! Они бы не допустили... Не позволили, чтобы ты ушел от меня к этой... своей...

– Думаю, мы в состоянии решить свои проблемы сами. Она меня любит. Любила все эти годы и ждала.

Больше он ничего не мог ей объяснить. Не рассказывать же, как снова встретился с Нинель, как убедился в том, что эта женщина любит его по-прежнему, любит всем своим сердцем, всей распахнутостью души? Теперь он мог это оценить по достоинству, чего не вышло по молодости. И оказалось, что еще не слишком поздно.

– Римма, прости, но мне сейчас лучше начать собираться. Я сложу свои вещи в этот старый чемодан, не возражаешь?

– Я тебе помогу. Возьми еще спортивную сумку. В нее можно положить книги.

В конце концов, она не могла не признать его правоту.

Они работали дружно и слаженно, как делали это всю жизнь. Римма ловко, как она одна умела, складывала сорочки и наконец поинтересовалась:

– На развод сам подашь, или...

– Я сам. В ближайшее же время.

– Ну? Куда такая спешка?

– Римма, мы уедем.

– Ты и твоя молодая прелестная жена?

– Не надо так. Мы переедем в Саратов. У Нинель там дом – достался в наследство. Мне предложили неплохую работу.

– Вот как, все уже продумали...

– Как только устроюсь, я, разумеется, начну посылать тебе кое-что – тебе и девчонкам.

– Спасибо, мы не нуждаемся в алиментах.

– Ты, может, и нет, а девочки...

– Оставим этот разговор. Возьмешь пальто? А зимние ботинки?

– Пожалуй, нет.

– Ну, как знаешь. Новая жизнь, новые вещи. А куда мне прикажешь девать это барахло?

– Не знаю. Выбрось. Отдай кому-нибудь. Не знаю!

И Алексей ушел.

Римма не верила в это до последнего.

Она была уверена – это ненадолго. Алексей одумается. Ну куда ему? Ладно бы еще к молодой ушел, а то – к старухе! До развода дело не дойдет.

Но нет, дело дошло и до развода. Во время заседания суда Римма не выдержала и заплакала, глубоко презирая себя за эту слабость. И сквозь солоноватую туманность увидела – у дверей Алексея поджидала эта его... Нинелька. Сутулая, безвкусно одетая, жалась к стене. И сколько любви – преданной, собачьей – плескалось в ее глазах, столько же, сколько

слез в глазах Риммы!

Быть может, это заразно? Быть может, именно от этой дворняжки Римма подцепила вирус любви?

Она полюбила своего мужа, когда он ушел от нее. Полюбила, лишившись его ежедневного присутствия, а по ночам – его большого тела рядом с собой, тела, от которого она с такой досадой отодвигалась, боясь, что оно потревожит ее покой, ее опрятную прохладу... Но время упущено, ничего не вернуть, ничего не спасти. Терзаясь презрением к себе и запоздалой любовью к мужу, Римма докатилась до совершенно неприсущих ей поступков. Она сторожила мужа у дверей его нового дома, она писала ему душераздирающие письма. Она научилась звонить по телефону и бросать трубку, заслышав спокойный женский голос. О, страшное ночное одиночество женщины, горячие слезы на холодной подушке! О, ужас пробудившихся не ко времени, запоздалых желаний!

Но Римма не изменила себе, ведь она всегда мастерски владела своими чувствами.

– Ты же можешь еще раз выйти замуж, – как-то невпопад сказала ей дочь. – Ты у меня, мама, еще ого-го!

– Что значит это лошадиное «ого-го»? – фыркнула Римма, но в душе осталась довольна комплиментом. Она и сама знала, что все еще хороша собой, элегантная, ухоженная, и многие мужчины заглядываются на нее. Но вводить в дом, в привычный уклад жизни, совершенно постороннее существо противоположного пола, со своими обычаями и привычками? А если муж посмеет еще и предъявлять требования? Нет уж, лучше совсем обойтись без брака, это слишком хлопотное предприятие!

Волей-неволей, а это самое требовательное существо все же появилось в ее доме, только называлось оно не «муж», а «зять». Хрен редьки не слаще! Ну что ж, это было необходимо. Достаточно того, что старшая дочь, кажется, вознамерилась остаться в старых девах...

Глава 6

Так выходило, что семья в полном составе собиралась только за ужином. Вечно занятая Римма имела обыкновение допоздна засиживаться над своими трудами, потому просыпалась поздно и никогда не завтракала – не успевала. Мама вечно сидела на диете и к тому же нередко опаздывала на утренний эфир, так что Сережу по утрам чаще всего будил отец. Они со вкусом завтракали – варили яйца, сооружали трехэтажные бутерброды с колбасой и сыром, пили чай. Если с ними завтракала мама – она поджаривала гренки или оладьи, наставляла Сережу, чем обедать после школы. Впрочем, он уже был вполне взрослым и самостоятельным человеком, не боялся газа, мог разогреть себе и первое и второе, вскипятить и заварить чай, даже яичницу пожарить при необходимости. Такие самостоятельные обеды нравились ему. Он чувствовал себя взрослым человеком, деловито гремя кастрюльками, споласкивая в мойке тарелку и всякие там ложки-вилки. Семейные ужины таили в себе непобедимое очарование, но они случались редко – ведь все были так заняты, даже мальчик уделял много времени танцам...

Он давно забросил уроки фортепиано, несмотря на вялые протесты Риммы, которые совсем умолкли после того, как состоялся городской конкурс, где Сережа со своей неизменной партнершей Мариной получил первое место. Вспоминать об этом было приятно. Вспоминалось не тошнотворное утреннее волнение, не дрожь в коленях перед самым выступлением, но радостное чувство уверенности в себе, возникавшее при первых музыкальных тактах, легкость, сладкое головокружение и необычайное, уверенное ощущение хорошо сидящего костюма и ладных туфель, пошитых на заказ в театральной мастерской. Этот же мастер, щуплый и серенький, похожий на взъерошенного воробья, с полным ртом гвоздиков, шил туфельки и для Марины, чудесные серебряные туфельки Золушки.

«Раз-два-три», – считаешь про себя мысленно, но скоро какой-то вихрь подхватывает

тебя, уже нет необходимости в счете, и рядом несется неожиданно похорошевшее лицо Мариночки, которую тот же вдохновенный вихрь преобразует в сказочную принцессу. Танец окончен, они кланяются, благодарно и гордо принимая шквал аплодисментов, а в первом ряду сидит важная Римма, и в ее руке мерно покачивается кружевной веер.

Мальчик смутно жалел, что родители не разделили с ним его триумф. Нет, конечно, вечером звучали поздравления, и мама даже всплакнула на радостях, и отец был рад, и торжественный ужин с тортом и шампанским – Сереже тоже плеснули немного нежной пены в высокий бокал, – но на выступление-то мама с папой не пришли! Сожаление оказалось слишком смутным, чтобы мальчик мог его осознать. Он был еще в том возрасте, когда живут в атмосфере абсолютной любви, когда человеку кажется – все вокруг добры друг к другу... К тому же он привык, он знал – родители заняты. Они много работают.

Раньше у мамы была «аспирантура», что это значило, не понять, да Сережа и не старался. Зато новая мамина работа наполнила душу ребенка гордостью. Она стала диктором на местном телеканале – вела программу новостей. Весь город видел ее – каждый день, даже два раза в день!

Мама не просто читала новости, она сияла на телеэкране. В этом тоже было что-то от театрального представления. Каждая ее новая интонация была не случайной, каждый жест был продуман и пластически завершен. Во всяком случае, Сережа был в этом уверен. Он смотрел и ждал, что мама вот-вот подаст знак или улыбнется ему краешком накрашенных губ.

Анна тоже радовалась, правда, было кое-что, омрачавшее ее радость. Дело в том, что эту работу она получила не без пособничества матери, у которой сохранились богатейшие связи. У Риммы не так давно наблюдался директор верхневолжского телеканала. Работа нервная, на волоске от инфаркта, профилактика не помешает. Вот и решил сделать одолжение лучшему специалисту-кардиологу. Впрочем, Анна и впрямь оказалась на своем месте перед камерой. Она была необычайно киногенична: миниатюрная фигурка, правильные черты лица, которые в жизни представлялись банальными, зато, преломляясь в глазу камеры, становились ослепительно красивыми – вот удивительный фокус! К тому же, размышлял, очевидно, потенциальный инфарктник, она не будет роптать на низкую зарплату, у нее муж – предприниматель, хорошие деньги загребает! Даже за «спасибо» поработает, да еще и сама поблагодарит, и счастлива будет!

И Анна действительно благодарила. Новая работа заполняла какую-то пустоту в ее душе – пустоту, которую не могла заполнить учеба, поспешное замужество, раннее материнство.

Анна, увы, никогда не блистала способностями. Училась хорошо, но лишь за счет усидчивости. Училась музыке, но без увлечения. Не была компанейской девчонкой, имела одну только задушевную подругу, зато уж с первого класса и, как думалось, на всю жизнь.

А вот с сестрой не была особенно близка, несмотря на небольшую разницу в возрасте. Насмешливая книгочейка Ниночка вращалась в каком-то своем элитарном кружке, где пели песни под гитару и говорили о декабристах. Сестру она туда вводить не собиралась, так что Аня искала себе других развлечений, из которых любимейшим было ночевка у подруги Жанны или поездка с ней на ее же дачу. Оставшись с глазу на глаз, девчонки смеялись, как может смеяться только юность – без смысла и без усталости, причесывали и красили друг друга и, конечно, болтали, как сороки. Болтали, разумеется, о любви, о мальчиках. У них не водилось секретов друг от друга, с первого класса сидели за одной партой и к десятому скипелись в единое «Анна-Жанна», хотя между собой были до смешного несхожи – мальчишески стройная Аня с бантом в тугой косе и дебелая Жанночка, которая вместо коричневого платья носила вполне взрослые юбки и блузки – форменной одежды на ее размер было не купить.

В десятом же классе Жанна рассказала Анечке о великой тайне любви. О том, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они ложатся в постель. Впрочем, теория ими обеими уже была изучена назубок – у Ани на полке свободно стоял Мопассан, а мать

Жанна работала в женской консультации, дома у них водились разные забавные книги, в том числе и слепо отпечатанные брошюры – «Ветка персика», «Сакура в цвету» и прочие смутно понятные изыски.

На практике же искусство любви Жанна постигла в обществе Антона, двадцатилетнего соседского оболтуса. Он только что вернулся из армии, пока нигде не работал – отдыхал, присматривался и корчил из себя тертого калача, опытного мужчину. Антон приходил к ней днем, когда ее мать бывала на дежурстве.

Анна запомнила этот день на долгие годы. Разговор происходил после урока физкультуры, который в расписании стоял последним. В девичьей раздевалке остро пахло свежей штукатуркой и молодым потом. В небольшое окошко под самым потолком падал косой солнечный луч, и золотые пылинки танцевали в этом луче, а Жанна горячим шепотом (хотя никого не было уже ни в физкультурном зале, ни в раздевалке) поверяла близкой подруге свежее испеченные подробности настигшей ее страсти. Анечка слушала затаив дыхание, она и верила, и не верила.

– И тебе не страшно было? Не больно?

– Не страшно и не больно, а пот-ря-сающе! Ну, может, чуть-чуть, вначале...

– А ты теперь не...

– Чего еще?

– У тебя ребенок будет?

– Пфф, вот еще! Мы приняли меры. Сто процентов надежности!

– Ну-у, – протянула Анечка, стараясь не показать снедающей ее зависти. – А ты возьмешь меня свидетельницей на свадьбу?

– На чью? – делано не поняла Жанна.

– Как на чью, на вашу же! Ты кончишь школу, и вы...

Аня не успела досказать, подруга перебила ее самым откровенным и, что скрывать, довольно циничным смешком.

– Щас, разбежалась! Да не собираюсь я за него замуж. Тоже мне сокровище! Не работает, без образования, только футболом интересуется. Я девушка целеустремленная, а с ним какая у меня будет жизнь? Да ты, Лазарева, еще не в курсе дела, как я посмотрю!

И тем же горячим шепотом дурочка Жанна ввела подругу «в курс дела». Оказывается, жить и любить нужно легко, по-французски. Весь мир горит в этом легкомысленном огне. Все вокруг, и мужчины, и женщины, только и мечтают утолить любовную жажду. Нет ничего важнее, и прекраснее, и страшнее этого. Блюсти себя до брака? Хранить верность? Это старомодно, это глупо. Надо любить, пока любитесь, пока молодая, а мужики от этого с ума сходят, готовы все для тебя сделать!

– Мы и тебе найдем парня, – заманчиво пообещала ей Жанна. – Вот на майские праздники махнем на дачу, скажу Антохе, чтобы пригласил какого-нибудь своего приятеля.

Но до мая кавалер у Жанны успел смениться. Она дала отставку простоватому Антохе и познакомилась с Геннадием. Тот тоже не имел определенных занятий, но хорошо одевался, раскатывал на собственных «жигулях», обедал исключительно в ресторанах и не скупился на подарки.

– Ну как, повеселимся на полную катушку? – подначивала Жанна подружку. – Я сказала Генке, он приведет друга. Чтобы тебе не скучно было.

– Да ну, зачем! – отмахивалась Аня, чувствуя, что ей и страшно, и хочется этого страшного. – Глупости все это...

– Просто отдохнем. Гена мяса на шашлык достанет, вина привезет. Соглашайся. Скоро экзамены, от учебников не встанем, так хоть развлечемся напоследок! Вон ты какая бледная, совсем заучилась!

Анна согласилась. Но получится ли уговорить маму? Однако Римма Сергеевна согласилась, в точности повторив слова Жанны:

– Конечно, съезди, развейся на свежем воздухе. Вон ты какая бледненькая... Надо же и отдохнуть от занятий, а то здоровье загубишь.

Разумеется, если бы Римма была чуть меньше занята собой, она бы тщательней разведала – куда дочь едет, с кем? А еще кто будет? А из взрослых кто-нибудь? Но неурядицы с подгулявшим мужем захватили ее внимание, она и дала разрешение без лишних вопросов.

Утром первого мая Анечка зашла за подругой – между ними уговорено было, что они ради маскировки направятся на вокзал, как бы на электричку, а там их уже и подберет Гена на машине.

Но Геннадий, корректный молодой человек с зализанными височками, приехал не один. С ним рядом сидел высокий блондин в кожаной куртке – явно специально приглашенный для Ани кавалер. Она смутилась – мужчина, представившийся Захаром, показался ей слишком старым, слишком серьезным, у него даже лысина на макушке виднеется! Анечка оробела и хотела уж дать задний ход, но Жанка нечувствительным толчком впихнула подружку в салон, уселась сама и, прежде чем автомобиль тронулся с места, привычным жестом выудила откуда-то бутылку. Вся в разноцветных этикетках и медалях, она полна была темной, приятно пахнущей травами жидкостью. Жанна лихо глотнула прямо из горлышка, чем вызвала нарекание Гены:

– Лапушка моя, что за дворовые ухватки! Будь послушной девочкой, возьми стаканы в бардачке. Захар, передай девочкам стаканчики, пусть пока разомнутся!

Стаканчики были из красного прозрачного пластика, и рдеющими губами Анна пригубила незнакомое вино. Оно оказалось совсем не крепким, но очень сладким. Скоро ей стало весело, смущение рассеялось, и она подхватила веселую песенку, которую мурлыкала Жанна...

– Поедем с музыкой! – одобрил Геннадий, нажал кнопку маленького магнитофона, и из динамиков грянуло двухголосие популярного зарубежного дуэта. Жанна подпевала по-русски:

Не смотри на меня, братец Луи-Луи-Луи,
Не нужны мне твои поцелуи-луи-луи,
Говоришь, я прекрасна, я знаю-знаю-знаю,
Я всегда хорошо загораю...

В песне слова были, конечно, другие, Анечка, готовившаяся к поступлению на факультет иностранных языков, не могла этого не знать, но и немудрящая версия Жанночки нравилась ей, как-то соответствовала бесшабашному настроению этого майского дня.

До дачи домчались с ветерком, и там Захар проявил себя во всей красе. Он оказался душой компании – мастерски жарил шашлыки, травил байки из своего охотничьего репертуара и солоноватые анекдоты, ухаживал за Анной, трогательно подкладывая ей лучшие кусочки и щедро подливая вино. Сам он пил мало. Жанна посматривала на новообразовавшуюся парочку с профессиональной гордостью сводни, а Анечка просто млела. Ей, привыкшей к обществу крикливых, бесцеремонных ровесников, ухаживания Захара были в новинку и очень пришлись по душе! Правда, она все еще побаивалась, поглядывала в сторону калитки: провожая девчонок, мать Жанны высказалась не то в шутку, не то всерьез:

– Ну, смотрите, молодежь, не очень-то там расслабляйтесь. Может, и мы к вам нагрянем ближе к вечеру... Не помешаем?

– Да что ты, мам! – повела плечами Жанночка. – «Мы» – это, я так понимаю, ты с дядей Димой? Вы-то нам не мешаете, главное, чтобы мы вам не помешали!

И смеясь увернулась от шутливого материнского подзатыльника.

Теперь это обещание всерьез беспокоило Аню. Вдруг мать Жанны со своим мужчиной все же решат появиться на даче? Подруга заметила ее волнение и шепнула:

– Да не трусь. До матери сейчас ее хахель придет, они врежут по маленькой, и понеслась душа в рай! У нее своя личная жизнь, она тоже рада от меня отдохнуть.

Но вот окончательно стемнело, недалеко, на станции, загудела и ушла последняя электричка. Теперь можно было окончательно расслабиться.

...Анна проснулась в полной темноте от холода и долго не могла понять, где она находится. Было очень тихо – только назойливо цокали часы да тек откуда-то густой мужской храп. Наконец более или менее сориентировавшись в окружающем пространстве, Аня доковыляла по ледяному полу до стены, нащупала выключатель, и первое, что она увидела, – совершенно обнаженного мужчину на диване, где только что лежала сама.

Будильник показывал четыре часа утра.

Больше всего на свете ей бы хотелось сейчас оказаться дома, в собственной постели, да где угодно, лишь бы подальше отсюда! Но деваться ей было некуда.

Пошарив в шкафу, она нашла там теплый халатик, принадлежавший, судя по размеру, Жанне, надежно закуталась в него и прилегла на край дивана. Ей казалось, что она ни за что не заснет, но веки смежились сами собой.

А утром ее разбудила Жанна:

– Вставай, засонька! Я что, одна буду завтрак готовить?

Аня подскочила, оглянулась – Захара рядом не было.

– Уехали, – правильно поняла ее взгляд Жанна. – За вином поехали, говорила ж я ему, чтоб брал побольше!

– Зачем еще вино? – удивилась Анечка.

– Как – зачем? Продолжим гуляночку!

– Не-ет, ты как хочешь, а я больше не могу. Я домой поеду. На электричке.

– То есть как – домой? Ань, ты что? С Захарчиком что-то не так? Он тебя обидел, что ли? А на вид такой порядочный!

– Н-нет...

– Ну, тогда расслабься, чего ты как в воду опущенная! А что тебе не понравилось, так сама знаешь, в первый раз почти всегда так!

– Жан, я все-таки поеду. Мне что-то не по себе.

У Жанны глаза сделались круглые и зеленые, как у кошки.

– Ах, вот ты как? А еще подруга! Они, значит, сейчас с винищем прикатят, и мне оставайся тут с ними, чтоб одну на двоих пожиже развели? Не-ет, так не пойдет. Приехали вместе, значит, и уезжать будем вместе!

Тут Анечка не выдержала и заревела, и Жанна сразу же изменила тон, обняла ее, стала просить прощения, утешать, обещать, что вот сейчас-сейчас поедет домой, только парней дождемся, чего нам на электричке-то трюхать, когда машина есть! В сущности, она была добрая девка и настоящий друг и обещание свое исполнила – шустро ликвидировала следы гулянки, и встретили они кавалеров во всеоружии, уже даже с сумками в руках.

– Ребята, а ну-ка, развернулись и повезли девочек обратно в город! Девочки хотят домой!

Анна боялась, что парни заартачатся, но те были неожиданно покладисты.

– Уже? Ты ж веселиться хотела? – подмигнул Жанне ее Геннадий, а Захарчик высказался коротко:

– Чего хочет женщина, того хочет бог.

– Я думала, они... – сказала Аня подруге уже потом, когда машина, высадив их на вокзале, умчалась.

– Прямо уж! Ань, мы ж малолетки. Они перед нами на цыпочках ходят, потому что знаем – ежели мы, допустим, будем чем недовольны да капнем куда следует, то им грозят ба-альшие неприятности! Вплоть до отсидки! Поняла, дуреха?

Анна кивнула. Она все поняла, кроме одного – зачем на прощание записала в блокнот Захару свой телефон? Она ведь не хотела его видеть, никогда!

Дома вовсе не удивились тому, что девчонки рановато вернулись с дачи. Заскучали или замерзли – ночи-то еще холодные! Рано ведь не поздно, так ведь?

Через пару дней Захарчик позвонил Анечке.

– Может быть, погуляем? – предложил он. – Знаешь, новое кафе открылось, называется «Пингвин». Там разное мороженое, ты такого и не видела никогда!

Ей стало весело. Вот как, значит, она все же зацепила этого взрослого, интересного мужчину! Что ж, можно сходить, поесть мороженого, почему бы и нет? Маме она сказала, что идет на свидание с мальчиком. Познакомилась на подготовительных курсах. Милый, только очень робкий. Да, она вернется не позже восьми.

Кафе Анечке понравилось: там и в самом деле было мороженое разных вкусов и сортов – даже ананасное, даже ромовое! Она наслаждалась мороженым, уютной обстановкой, сознанием того, что вот она пришла сюда со спутником, с мужчиной... Но ее триумф был недолог. Захар начал проявлять признаки нетерпения, все посматривал на часы, и это было неприятно. Наконец она решила спросить его:

– Ты куда-то торопишься?

– Как тебе сказать, – ухмыльнулся он, демонстрируя превосходные зубы. – Вообще-то мы. Мы с тобой торопимся. Но это сюрприз.

Заинтригованная Анечка быстро проглотила полурастаявший шарик с пронзительно малиновым вкусом. Быть может, они пойдут в кино? Или в театр? Тогда действительно расслаживаться не стоит.

На улице Захар крепко взял ее под локоть и повлек к автобусной остановке. Через двадцать минут они вышли на узкой улочке, скатывающейся в овраг. Где-то нехотя брехала собака, проорал петух – как в деревне. Да тут и была самая настоящая деревня – вокруг, куда ни оглянись, маленькие деревянные домики. Анечка никогда не была в этой части города.

– Зачем мы сюда приехали?

– Тут я хату снял, – подмигнул ей Захар. – Посидим, отдохнем в тишине и покое. Ты куда?

Анна повернулась на каблуках и зашагала обратно, к остановке.

– Аня, да что на тебя нашло? Я тебя чем-то обидел?

– Нет. Ничего, – ответила она не оборачиваясь. – Иди отдыхай сам. В тишине и покое. А меня не провожай. И не звони больше!

Наверное, она говорила очень убедительно, потому что шаги за спиной стихли, Захар не пошел ее провожать, вот радость-то! Она еле дождалась автобуса, но, загрузившись в благоухающее бензином нутро, вдруг рассмеялась. Ей стало легко. Она вспомнила вкус мороженого, вспомнила умоляющую, растерянную физиономию Захара и снова рассмеялась, да так, что сидевшая рядом с ней старушка испуганно шевельнулась и покрепче прижала к себе авоську.

Добравшись домой, она первым делом позвонила Жанке.

– Отшила? Вот и правильно, – довольно равнодушно заметила подруга. – Представляешь, Генка рассказывал, что Захарчик твой с женой развелся, но живет с ней по-прежнему в одной квартире! И алименты он платит, на фиг нам такой сдался! Мы еще получше найдем!

И они стали искать.

Аня поступила в университет и стала в глазах окружающих взрослым, самостоятельным человеком. Так ей и мать сказала:

– Ты теперь взрослый человек, и я хочу поговорить с тобой как со взрослой.

Вслед за этим Ане пришлось узнать неприятные новости. Оказывается, пока она вкалывала «на картошке», отец ушел от них. Бросил мать и ее, Анечку, тоже бросил.

– Что же мы теперь будем делать? – спросила Анна у матери.

И та ответила, высоко подняв свои красивые брови:

– Что делать? Будем жить.

И дочь не заметила горькой вопросительной интонации в этих словах, не почувствовала, что мать ждет от нее, быть может бессознательно, поддержки... Что ж, будем жить! И по возможности весело!

Сколько глупостей натворила Анечка в тот год, в компании с той же неутомимой

Жанкой! Едва выдавался свободный часок, подружки отправлялись на прогулку – на охоту. Они знакомились с мужчинами в кафе, в сквериках, в магазинах, Жанна расставляла силки в почтовом отделении, куда она устроилась после окончания школы, а Аня подцепляла застенчивых очкариков в читальном зале научной библиотеки. Встречаясь, девушки взахлеб делились своими победами. Между ними завелись свои словечки, свои игры. Силен был дух соревновательности. Особенным шиком считалось раскрутить ухажера, то есть сходить с ним в дорогое кафе, вытянуть какой-то подарок, а потом продинамить – дать неправильный телефон и распрощаться навеки. Но эти свистульки отнюдь не были против более близкого знакомства! Жанна хвасталась, что записывает имена и некоторые основные характеристики своих любовников в специальном дневничке. Анечка в кои-то веки переплюнула подружку. Каждого мужчину отмечала она алой розой, пряча ее в тяжеленный том «Войны и мира». Она называла это «мой гербарий»... В глубине души она все так же считала любовь пресным блюдом, но это значило лишь то, что к нему нужно прибавить остроты. А лучшей приправой Анна считала деньги, украшения, дорогие вещи.

Ей нравились меха. Она забегала в магазин и надолго замирала перед витриной с шубами. Запах меха чаровал ее, непередаваемо воздушная тяжесть норки на плечах вводила в транс. И всякий раз откуда-то из глубин магазина вылезало презабавное существо – большой, тяжелый парень, с глубоко посаженными, как у медведя, глазами. И смотрел он на нее как медведь на улей, но все не решался подойти.

И вот однажды решился. Но он казался Анечке слишком тяжеловесным для романа, слишком старомодным, угрюмым, неинтересным.

Матери Вадим понравился, хотя только дочь могла бы это заметить. Римма общалась с приятелем Анны в своей обычной манере, изысканно-вежливо, отстраненно-прохладно.

– Это серьезный человек, – так охарактеризовала его мать, а высшей оценки у нее не было.

И Анечка уже с тоской думала, как бы отшить этого неторопливого и, кстати, не очень-то щедрого человека, который вместо комплиментов и анекдотов ронял только тяжелые, словно чугунные гири, слова:

– Я сам из захудалой деревни, но добился в жизни всего...

– Моя семья ни в чем не будет нуждаться...

– Я не пью. Только по праздникам, под хорошую закуску и в меру.

Вадим напоминал ей персонажей пьес Островского, всех этих купцов, купеческих сыновей, выбившихся в люди приказчиков. И решено было дать Вадиму отставку, но все решилось как-то само собой – на лето ее звал к себе отец. Он со своей новой-старой женой жил в большом старом доме на берегу реки.

– Пляж у нас рядом, чудесный, приезжай, Анюта, соскучился я, – гудел в трубке его раскатистый басок.

Анечка косилась на мать – как та, не будет ли против? Но та улыбнулась и отпустила. Быть может, надеялась на что-то для себя – муж увидит дочь, вспомнит Римму, поймет, что соскучился, что жить без нее не может...

У отца Ане не понравилось. Дом действительно был большой и старый, с резными зелеными ставнями, с петухом-флюгером и качелями во дворе. И береза росла у самых ворот, все шевелила ветвями, шелестела листьями, будто странница, собирающаяся уже который год в дорогу. Хороший дом, что и говорить. Но по дому ходила целыми днями чужая женщина, некрасивая, чудаковатая – смахивала пыль, перестилала кружевные салфеточки, перетряхивала покрывала. Она все мурлыкала что-то под нос, и говорить с ней было совершенно не о чем. Когда возвращался отец, жена льнула к нему, как кошка. Ночами Анна слышала из их комнаты голоса – они иной раз забалтывались до утра, и недоумевала: значит, она умеет разговаривать и даже смеяться так, словно звенит серебряный колокольчик?

Ее выручал пляж – она уходила туда с утра и возвращалась на закате. И золотые крупинки лета притягивались, словно к магниту, к ее телу. Но нельзя же валяться на солнце

весь день напролет, и Аня искала себе развлечений. Знакомиться с парнями не хотелось – вдали от закадычной подружки и соратницы Жанки эта охота теряла смысл. Город захлебывался ароматом роз – Анечка не сорвала ни одной.

Главное из развлечений было провожать и встречать теплоходы. Когда трехпалубная громада разворачивается еще далеко от берега, интереснее всего читать едва видимые, золотящиеся в солнечных лучах имена: Михаил Калинин, Феликс Дзержинский, а это... Ост-ров-ский... Над красной пирамидкой бакена выются чайки, запоздалый рыбак, простоявший, наверное, всю зарю на фарватере, спешит убраться с середины реки на своей ветхой «резинке». Вот сумасшедший! Прямо напротив города зеленеет небольшой длинный островок, и видно, что крайние деревья, как островные жители, зашли в воду по колено... Верно, им тоже захотелось окунуться. Строгий толстый капитан, в тельняшке, живо поворачивает руль, и огромная пассажирская баржа, полная народу, нехотя, кряхтя и постанывая, отходит от пирса. Мальчишки с удочками летят по набережной на великах, трезвоня о долгожданных каникулах. Усы от моторной лодки расходятся по тихой, летней, ленивой воде, а верблюдьим горбам трудяги-моста, вздымающимся над рекой вместе с потоком машин и идущих на пляж полуголых людей, и в такой денек не до отдыха...

На речном вокзале кафе, не очень дорогое и приличное. Она села за столик у окна, ветерок отдувал ей в лицо легкую штору. Аня ела мороженое и смотрела на теплоходы, как сходят на берег особенные, теплоходные люди в легких и светлых одеждах. Она завидовала им. Счастливые! Погуляют по раскаленной набережной в своих соломенных шляпах и белых кепочках, а потом поплывут дальше по прохладной воде к неведомым городам, к новым удовольствиям... С теплохода всегда раздавались популярные песни, а когда отплывал – непременно «Прощание славянки», и от этой знакомой мелодии всегда щемило сердце и хотелось плакать. Когда теплохода не было, она листала взятую с собой из дому книжку. Ей никто не мешал.

Через две недели Анечку уже знали в кафе и, едва завидев ее, несли кофе, мороженое, бутылку нарзана. Ане была симпатична краснолицая повариха – обедами она подкармливала с заднего крыльца двух-трех бездомных дворняжек, нравилась и смешливая официантка, но как-то раз она задержалась под окном и услышала, как повариха сказала официантке:

– Вот и наша Пенелопа явилась.

Анечка покраснела до корней волос, потому что поняла: сказанное относится к ней. Особенно больно показалось, что эта толстая дура знает, кто такая Пенелопа, и что она так удачно ввернула словечко. Но официантка рассмеялась необидно и посмотрела на входящую Аню особенно тепло, дружелюбно. И все же она решила больше не ходить в это дрянное кафе, вот сегодня последний раз, и все.

Теплоход пришел большой, туристический трехпалубный гигант «Иван Тургенев», и Аня сочла это доброй приметой, потому что как раз сегодня она взяла с собой томик «Записок охотника», давно собиралась прочитать, но все не могла собраться с силами.

«Похоже, и на этот раз не прочту. Какие нарядные люди, сразу видно, из Москвы. На этой тетке фиолетовое платье выглядит ужасно, мне бы оно пошло гораздо больше. Конечно, будь оно на три размера меньше. А золотища-то на ней! Вульгарно нацеплять на себя столько золота с утра пораньше!»

Фиолетовая тетка говорила громко, словно в трубу трубила:

– Женечка! Женечка, я с Кирой Аркадьевной пойду в краеведческий музей! Здесь рядом! А ты погуляй по набережной, но не забудь головной убор! Слышишь, Женечка? Стоянка четыре часа, мы еще успеем зайти на базар! Купим черешни! Женечка, ты будешь есть черешню? Еще я хочу купить рыбы, говорят, здесь чудесно коптят рыбу... Ох, сколько хлопот, сколько хлопот, называется, отдохнуть поехали, да мне дома было бы спокойнее!

Аня вытянула шею и с изумлением обнаружила, что Женечка – это вовсе не «она», а совсем даже «он» – стильный парень в джинсах. Фиолетовая хлопотунья, должно быть его маменька, была ниже сына на голову и, произнося свой монолог, наставительно тыкала

пухлым пальчиком в его грудь. Тот кивал с насмешливой покорностью, длинные пряди волос падали ему на лицо, он отбрасывал их необыкновенно красивым жестом. Наверное, Ане не стоило так откровенно на него глазеть – он почувствовал ее взгляд, поднял голову и, прежде чем она успела отвести глаза, улыбнулся ей.

– Женечка, куда ты смотришь? Ты меня слушаешь? Надень панамочку, иначе у тебя будет солнечный удар!

Аня фыркнула. Это же надо – «панамочку»!

И кажется, только успела отвернуться от окна, как хлопнула дверь и этот, длинноволосый, уже подскочил к ее столику.

– У вас свободно?

Смешно. Во всем кафе был занят только один столик – ее.

– Пожалуйста, – церемонно кивнула Аня, но не сдержала улыбки.

– Мороженого, фруктов каких-нибудь, ну и шампанского, – бросил он подошедшей официантке.

– Фруктов никаких нет. И шампанского нет. Бар работает с шести часов, – с удовольствием сообщила та.

– Вот это да! Тогда я вас больше не задерживаю.

Она пожала плечами и ушла.

– Что ж, думаю, благодаря моей матушке вы уже знаете, как меня кликают. Женечка – значит Евгений. А ваше имя я могу узнать?

– Анна.

– Прекрасное имя. Знаете, Анна, я хотел угостить вас шампанским. Но...

– Не беда. Выпьем минеральной воды.

– А знаете, у меня в каюте есть шампанское. Хотите, поднимемся на борт, заодно покажу вам теплоход? В салоне такие забавные картины.

Анечка поднялась, стараясь не спешить.

...В роскошной каюте первого класса («Первый класс «А», как в школе», – сообщил Евгений) было очень жарко, шампанское тоже нагрелось, и добрая половина пролилась – неудержимой струей белой пены. Влага попала Анечке на блузку, она смеялась, поправляя, отлепляя щепотками влажную ткань, а у Евгения вдруг потемнело лицо, он шагнул, рванул ее к себе и поцеловал в смеющийся рот так, что зубы больно стукнули о зубы. Он опрокинул ее на диван, навалился, смял, и она заметила, что на потолке каюты качаются, трепещут солнечные зайчики.

А забавных-то картин в салоне она так и не увидела.

Глава 7

– Анна Алексеевна знает, где растут молодильные яблочки, – поговаривал оператор Валера, сам сморщенный, как полусъедобный гриб строчок. Валера был давним и безответным поклонником Анны и почти столь же давно привык посмеиваться над собственным чувством. – Среди молоденьких таких не найти. Ну куколка, вылитая куколка!

Быть может, дело в том, что работа стала для нее настоящим счастьем? Тщательно обдумывать наряд и макияж, почти каждый день доверять свою голову сноровистым рукам парикмахера, репетировать перед зеркалом корректную, но и ослепительную улыбку, чтобы блеснуть ею в эфире... А эта щекотная радость, когда тебя узнают на улице, – от нее хочется прыгать, визжать, бить в ладоши, Анна за столько лет так и не привыкла к ней!

Когда женщина так счастлива – ей суждено на долгие годы оставаться легкой, молодой и привлекательной. Вот уж в самом деле жизнь удалась! Она живет в светлой, просторной квартире, и не успевает чего-то захотеть, как все сбывается! Заботливый и внимательный муж, мудрая мать (завидное здоровье для ее возраста, тьфу-тьфу-тьфу) и чудесный сын, похожий на маленького принца с далекой планеты. Беды и горести не имеют к Анне никакого отношения. Дурное случается только с дурными людьми, трагедии бывают у людей

невоспитанных. Например, измены. Как можно допустить себя до такого? Вот, предположим на нее, Анну, обращают внимание мужчины. И немудрено. Она недурна, следит за собой, а с тех пор, как села за руль, вообще стала очень интересна! Правда, муж немного дулся, когда она заявила о своем желании непременно водить автомобиль, по его мнению, это не женское дело, ну да это пустяки! В какой семье не бывает время от времени небольших разногласий? Вероятно, Вадим просто за нее беспокоится. Так вот – она же остается верной женой, хорошей матерью, хранительницей домашнего очага.

Тут Анна немного кривила душой. Домашний очаг, хранимый небрежной рукой, то еле тлел, то угрожающе вспыхивал.

– Не делайте из еды культа! – весело приговаривала она, когда супруг начинал выражать свое отвращение к бутербродам, пельменям да к пирожным – из кулинарии на углу.

Из стирки и уборки она тоже не делала культа. Постельное белье кое-как загружала в машинку – та и стирала, и полоскала, и отжимала, и сушила, только песенки не пела. Гладить Анна давно отказалась наотрез – еще чего не хватало, целыми днями торчать у доски! Да и потом, она читала где-то, что спать на неглаженном белье полезнее для здоровья!

– Пыль тоже полезна для здоровья? – негромко спрашивала Римма свою дочку.

– Мам, мне некогда. И к тому же я испорчу маникюр, а у меня...

– Знаю, знаю, эфир. Ладно, сама протру.

– Мам, а почему ты никогда пирогов не печешь? – спросил как-то за ужином Сережа.

Анна посмотрела на сына, как будто в первый раз его увидела. Как время-то бежит! Он уже в одиннадцатом классе, давно прекратились нескончаемые детские хвори. Мальчик вытянулся, раздался в плечах. Он по-прежнему занимается танцами – уже не только классическими, но и спортивными. «Только танец живота я пока не освоил», – шутит он порой. Сережка второй год танцует в шоу-балете «Антре», на их представления ходит много людей, а кое-кто из его старших товарищей по шоу уже сделал неплохую карьеру в столицах.

Танцы облегчили ему пору полового созревания, решили проблему общения, он нравится девочкам. Кожа лица не по-мальчишески чистая, кудри падают на лоб. Шоколадные глаза смотрят вопрошающе, розов рот... И вот вдруг – такой неуместный, неудобный, дурацкий вопрос.

– Вот у Гошки все время пироги. С капустой, или с мясом, или с вареньем. А у Маринки мама торт «Наполеон» печет, и Марина ей помогает крем сбивать.

– Сын, у Марины мама не работает, она всегда дома, и у нее есть время...

Анна сказала это и бросила косой взгляд на мужа. От него можно было бы ожидать слов: «Тебя тоже никто не заставляет работать, я вполне могу сам обеспечить семью. Сиди дома, стряпай пироги!» Она частенько такое слышала, но только с глазу на глаз. Сейчас Вадим жевал и с отсутствующим видом смотрел куда-то сквозь стену.

– А у Гошки работает, – дернул плечом Сережа. – И...

– Вот вырастешь, женишься на Мариночке, и будет она тебе и пироги, и торты печь, – спокойно сказала Анна, но в ее голосе уже зазвучали металлические нотки, и Сережа осекся, приналег на свою котлету – обугленный на сковородке полуфабрикат из картонной коробочки. Пора было сворачивать разговор или сводить его к шутке. И то и другое он умел делать блестяще – поневоле научишься, если живешь в такой семье, как эта.

– На Мариночке я не женюсь, – серьезно сообщил сын, как бы поверяя членам семьи свою давнюю мысль. – У нее нос какой-то кривой. И вообще – мы с ней просто друзья.

К сожалению, ее мамаша этого не понимает. Потому и прикармливает меня пирогами.

Фокус не прошел – мать отчего-то нахмурилась еще больше.

– Марина – умная и милая девочка. И ее семья – очень достойные люди. Лучшей родни...

– Да-да, конечно... – пробормотал мальчик. – Спасибо, я сыт. Мам, можно, я пойду к себе?

– Иди.

– Что это ты завелась? – нарушила молчание Римма. – Я тебе, Анна, от души рекомендую попить что-нибудь успокоительное. Валерьяну, например, пустырничек. И бога ради, к чему эти разговоры о родне? Мы в каком веке живем? Мальчик сам выберет себе подругу, когда придет время. Сейчас-то еще, мне кажется, рановато.

Быть может, мама дурнушки Мариночки в самом деле лелеяла какие-то матримониальные планы в отношении партнера дочери по бальным танцам, да и сама Марина льнула к Сереже простодушно и откровенно. В теплый, солнечный день бабьего лета класс собрался на прогулку в городской парк. Планировалось повертеться на каруселях, поплавать на лодочках по небольшому озерцу, посидеть в кафе, быть может, тайком угоститься и кое-чем покрепче кока-колы. Как только вошли в ворота – Марина сразу уцепила Сережу под ручку и, переступив, зашагала с ним в ногу. Рука у нее, как всегда, была влажная, держалась она слишком цепко, чтобы это казалось приятным.

– Сереж, я хочу покататься на «Камикадзе»! Пошли со мной?

На «Камикадзе» визжали в голос люди. Огромная ладья взлетала в небо, на несколько секунд зависала вверх ногами, причем оттуда, с высоты, сыпалась из карманов катающихся мелочь и всякая дребедистика, потом ладья со страшной скоростью обрушивалась вниз. Ничего себе удовольствие! Сережа поморщился:

– Не люблю каруселей. Катайся одна.

На несколько минут ему удалось отделаться от Мариночки. Одноклассники тоже рассосались кто куда. Сережа купил в киоске бутылку газировки, присел на скамью. На другом конце скамейки сидела разноцветная стайка девчонок. Все они были его ровесницы, голенастые болтушки. От них веяло дезодорантом и фруктовой жевательной резинкой. Девчонкам не сиделось на месте – они щебетали, хихикали, подталкивали друг друга и бросали на Сережу быстрые взгляды. Одна встала:

– Я за мороженым.

– Дашунь, и мне захвати эскимо!

– А мне шоколадное!

– Тебе нельзя, ты на диете!

– Сама ты толстая корова!

И к чему им какие-то диеты? Сережа посмотрел на ту, что собралась за мороженым, и что-то екнуло у него под ложечкой. У нее были большие голубые глаза, курносенький нос, острый подбородок – лицо, похожее на кошачью мордочку, неправильное и очаровательное. В маленьких ушках качаются сережки с жемчужинами, и ее кожа перламутровым свечением тоже напоминает жемчуг. Была у нее еще забавная гримаска – прежде чем улыбнуться, она собирала губы в бутончик, будто собираясь свистнуть или подуть в невидимую дудочку. И его сердце услышало звуки этой дудочки, и с этого момента он готов был идти за ней, как шли за крысоловом юные горожане города Гамельна.

Откуда только смелость взялась! Он встал со скамейки вслед за ней и пошел, глядя как зачарованный на ее спину – мелким бесом выющиеся волосы девушки были заплетены в красивую, похожую на большой золотой колос косу. У лотка с мороженым Сережа осмелился заговорить с ней, и она ответила ему приветливо. Ее звали Даша. В тот день подруги не дождались ни Даши, ни своего эскимо – она пошла гулять со своим новым приятелем по затененным аллеям старого парка. Небо затянулось тучами, нахмурилась серой рябью озерная гладь, от порыва ветра скрипнули дубовые ветви, а они все ходили и говорили, говорили... Ей, как и ему, нравятся старые музыкальные фильмы. Он слушал английскую группу Hot Chip, у нее в розовых наушниках мяукает Лагутенко, но оба обожают местное фолк-трио «Кожа». Он танцует, она тоже всегда мечтала танцевать, но вместо этого зачем-то пошла учиться в юридический лицей.

– Ты придешь на наше выступление?

– Конечно! Представляешь, а я ведь обращала внимание на афиши! «Божественная комедия», да? «Данте в аду, Данте в раю, а мы на краю?»

– Красиво звучит, да?

– Очень!

– А спектакль еще красивее.

Он проводил Дашу до остановки маршрутки.

– Я далеко живу. Ты меня дальше не провожай, а то как раз под дождь попадешь.

Вообще-то дождь шел уже давно, просто они его не замечали.

• • •

Они стали встречаться – не часто, потому что все же у обоих учеба, выпускной класс, а у него еще и танцы... Но и не редко, ведь Даша приходила почти на все представления «Антре», и потом они шли гулять – в любую погоду, куда глаза глядят. Бесснежная, пронизывающе холодная зима заставляла их искать убежища. Зима всегда готова открыть ищущим что-то новое...

В бесприютном городе они нашли много укромных уголков, например художественный музей, в который по будням никто не заглядывал, недорогую, но симпатичную кофейню, книжный магазин, владельцы которого поставили кожаные диванчики, все для удобства покупателей! Они часто ходили в кино – и ходили бы еще чаще, если бы для Сережи полумрак зала не был наполнен невыносимым, тянущим напряжением. От близости ее лица, от нежности ее руки в его руке, от того, что порой она прижималась к нему мягким плечом, он совершенно терял голову, в ушах шумело, перед глазами вставал туман, и иной раз он не мог вспомнить даже названия только что увиденного фильма. А Даша рвалась обсудить с ним содержание и потом смешно дулась. Да какое там «содержание» могло быть у очередного блокбастера? Они не целовались, но порой в эсэмэске Даша приписывала «целую», и он маялся часами, размышляя, что бы это значило и может ли он поцеловать ее наяву? Но все не решался. Вдруг обидится, уйдет и он ее никогда больше не увидит?

У него не было приятелей, кроме одноклассника, с которым он последние годы просидел за одной партой. Но этот угрюмый, увлеченный компьютерными играми парнишка вряд ли был специалистом в интересующей Сережу области.

Разумеется, ему случалось слышать мальчишечью болтовню – молодая, щедро усыпанная прыщами поросль по укромным углам соревновалась друг с другом в цинизме, рассказывая о невозможных победах над невероятными красотками. Но Даша не была похожа на «классную телку с во-от такими...», кто знает, проявит ли она такую же готовность и энтузиазм? И пока он решался только греть ее вечно замерзающие руки своим дыханием, прикасаясь губами к полупрозрачным пальчикам, а она, играючи, порой щекотала ему лицо пушистым кончиком своей косы.

На день рождения он купил Даше маленький подарок – белые пуховые варежки. Денег пришлось попросить у отца, ведь свои карманные он получил две недели назад и успел промотать их на кино и на кофе с пирожными. Сережа опасался докучных вопросов, быть может, насмешек, но отец был чем-то озабочен и на просьбу сына ответил:

– Возьми в кармане пальто сколько нужно.

По дороге в школу Сережа купил варежки у старухи, закутанной в огромную пуховую шаль, похожей на бурую медведицу. До вечера они лежали в его рюкзаке, прижавшись друг к другу, как испуганные крольчата.

День рождения Даши они отмечали вдвоем, в своей любимой кофейне, и все было так хорошо, так вкусно пахло кофе, ванилью и корицей, так чудесно улыбалась она, что Сережа забыл о своем подарке и вспомнил только возле ее дома, к которому она наконец-то решила себя проводить.

– Это тебе. Они будут греть тебе руки, если вдруг замерзнут, а меня рядом нет.

– Какие красивые! – ахнула Даша.

– Ты теперь как Снегурочка, – сказал Сережа, любуясь ею.

– Правда? Может быть, как Снежная королева?

– Нет. Смотри: на Снегурочке красная шубка с белой опушкой...
– Это не шуба, а пуховик.
– Все равно. Белые валенки...
– Это сапожки!
– Не играет роли. Белая пушистая шапочка и белые рукавички. И коса у тебя, как у Снегурочки...

– Как у Снегурочки, – повторила Даша задумчиво, и глаза у нее вдруг стали неподвижные, словно стеклянные.

Сережа даже испугался:

– Ты что? Что с тобой?

Она заморгала.

– У тебя бывает такое чувство, что ты уже когда-то это видел? И снег шел точно так же, и кто-то сказал то же самое?

– Это называется дежавю. По-французски – «уже было», – блеснул почерпнутыми у родительницы познаниями Сергей.

– Да-да... Наверное. Но неужели ты этого не видишь, не чувствуешь?

– Что-то есть, – неуверенно ответил Сережа, но сам видел только ее веселые глаза, покрасневшие щеки, нежный рот и чувствовал только желание и страх. И все же осмелился, качнулся вперед, ткнулся сухими губами в ее ухо, почувствовав холодок жемчужной сережки, ткнулся в щеку, наконец нашел губы и замер, припав к ним, а она обхватила его за шею – как смешно щекотятся эти пуховые варежки!

А когда он очнулся, Даша была уже далеко, стояла у подъезда, махала ему оттуда рукавичкой. Грохнула железная дверь – она ушла. Как хорошо, как странно!

– Мамуль, я пришла! У-у, вкусно пахнет! Кофе намолоча?

Мать показалась на пороге кухни. Она куталась в вязаную шаль, глаза у нее подозрительно блестели, макияж слегка поплыл. И одета она странно – сверху праздничная блузка, снизу спортивные штаны – словно начала было наряжаться, да отвлеклась на что-то.

– Ты где шаталась?

– Гуляла, – удивилась Даша. – Я же тебе говорила, что после школы пойду гулять. В кафе пойду. Или не говорила?

– Говорила, – кивнула мать. – Говорила, что пойдешь с девчонками отмечать свой день рождения.

– Ну да.

– А это кто был?

– Где?

– Дарья, не придуривайся! С кем ты целовалась у подъезда?

– Ну уж и целовалась! Мам, давай пить чай, а? У меня ведь сегодня день рождения! С чего ты завелась-то?

– Хорошо, – неожиданно согласилась мать. – Мой руки и давай за стол. Потом поговорим.

Галина вернулась в кухню, взяла с подоконника блюдо с тортом, достала нож. Торт нужно было разрезать, хотя и жаль резать такую красоту – под слоем прозрачного желе из ломтиков фруктов выложен букет цветов, особенно удались мандариновые розы. Торт доставили из хорошей кондитерской, сама Галина давно не готовит, ей некогда, да и потом, они обе, и мать и дочь, склонны к полноте, приходится придерживаться диеты. Как руки дрожат! Но почему, почему это случилось, почему Дашка встретила именно этого мальчишку, мало ли их в Верхневолжске, что за бразильские страсти? Так все было хорошо, ясно, понятно, и вот теперь прочные основы жизнеустройства поколебались, старая и привычная ложь, скрытая, казалось, навеки, грозила выбраться наружу, на поверхности уже видны были ее уродливые уши... Не позволить, строго запретить, наказать, да как ее накажешь, такую упрямую, такую любимую и... Непредсказуемую? Галина знала свою дочь

– она могла быть как сталь, она могла быть как шелк, ей не откажешь в силе воле.

«Вся в меня. И многого добьется, если будет слушаться мать, далеко пойдет», – подумала Галина.

Из комнаты Даши послышался писк, и вслед за этим – восторженные причитания. Нашла подарок.

– Ой, мамулечка, какой телефончик! Спасибо-спасибо-спасибо! Дай поцелую!

– Это тебе Вадим Борисович передал, – отвернувшись к окну, ответила мать. – От меня будет тебе на новые сапожки. Садись к столу.

Дочь забавлялась телефоном, как дитя малое погремушкой. Право, жаль ее отвлекать. Но Галина и так уже затянула с этим делом.

– Даш!

– Чего, мам?

– Как зовут этого мальчика?

– Мам, ну...

– Не кобенься.

– Сережа его зовут.

– Так, – кивнула мать.

Все же странная она сегодня, ей-богу!

– А фамилию ты его знаешь?

– Знаю, конечно. Акатов.

– А... Даша, оторвись от телефона и посмотри на меня. А у Вадима Борисовича, который тебе этот самый телефон подарил, как фамилия?

– Акатов... Ой. – Бровки поползли вверх, губы сложились трубочкой, но улыбки не получилось. – Они что, однофамильцы? Или?..

– Или, Дарья, или. Это его сын.

– Ничего себе. Мам, я прям даже не знаю, что сказать...

В наступившей тишине тоненько запел закипающий чайник. Галина встала, выключила газ, покосилась на дочь. Хлопает глазами, бровки домиком, губы дрожат. Бедная, бедная девочка! Но это необходимо, это для ее же блага.

– Он мой отец?

– Дарья!

– А что такого? Я имею право знать!

– Замнем эту тему.

– Но почему?

– Сама подумай, своей головой.

И она подумала.

Что она знала о том, кого всю свою короткую, шестнадцатилетнюю жизнь звала по имени-отчеству? Он был, сколько она помнила, маминым начальником. В детстве он казался ей похожим на медведя из сказки – большой такой, угрюмый, должен бы вызывать страх, но вызывает отчего-то жалость. Он сутулился, словно под тяжестью невидимой ноши, и часто оглядывался, тоже по-звериному, по-медвежьи. Опасался, что ли, что кто-то скажет из-за спины тоненьким, въедливым голосочком: «Высоко сажу, далеко гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок!» Еще он был вроде Деда Мороза – всегда дарил подарки, и на день рождения, и на Новый год. Даша знала, что Акатов помог ее матери с жильем, – а проще говоря, поселил ее в эту квартиру, когда она только приехала в Верхневолжск учиться, поддерживал ее, как мог, и потом, когда она выучилась, взял ее на работу в свою фирму, где мать теперь занимает должность финансового директора. Зарабатывает она неплохо, давно выкупила у Акатова эту уютную квартирку, отгрохала в ней знатный ремонт, теперь бывший хозяин приезжает в гости, они подолгу чаевничают с матерью, обсуждают свои «рабочие моменты».

Подрастая, девочка стала задумываться о сущности отношений между матерью и Вадимом Борисовичем, наблюдать за ними, цепким глазком примечать детали, но так и не

пришла ни к какому выводу. Спрашивать у матери она не решалась, а ее собственный жизненный опыт был пока слишком мал, чтобы она сделала какой-то вывод из своих наблюдений. Да, приходит часто, к маме внимателен, дарит подарки, но вот ночевать у них ни разу не оставался. Как-то она нашла в вещах матери фотографию. Мама, так смешно причесанная, щурится на солнце, а за плечи ее обнимает Вадим Борисович, и оба они такие молодые, такие веселые! Судя по надписи золотом в углу карточки – такие надписи любят делать провинциальные фотографы, – этот снимок сделан за год до рождения Даши. Она что-то поняла тогда, но матери не задала ни одного вопроса, потому что всегда была разумной девочкой и знала – есть вещи, о которых спрашивать не полагается, мать сама все расскажет. Потом. Когда придет время.

Неужели Акатов – ее отец? А этот прикольный мальчишка, значит, приходится ей единокровным братом? Как все занятно, словно в сериале! Только мать отчего-то не сочла ситуацию забавной.

– Мам, ну что с тобой? Что ты так расстроилась? Почему глаза на мокром месте? Ты не хочешь, чтобы я с ним встречалась?

– Дочь, ты у меня умница!

– Ну давай, улыбнись. – Даша обхватила мать за плечи, стала покачиваться вместе с ней, словно баюкая. – Ты думаешь что? Думаешь, он мне так нужен? Да таких на рубль десятков в базарный день! И давай попробуем торт, съедим по огро-омному куску, да и хрен с ней, с диетой!

– Дашка, что за выражения!

– Мам, мы же в домашнем кругу!

– Все равно, ты должна держаться... – Галина развела плечи, вздернула подбородок, словно иллюстрируя свои слова, – всегда в форме! Знаешь, у меня есть одна мечта...

– Поделись.

– Ты только не смейся!

– Ну что ты...

– Вот я думаю, закончишь ты школу и отправим мы тебя учиться в вуз. Пока в наш, российский. А потом соберемся с силами – и поедешь ты у нас, дочка, в Англию.

– Лучше в Америку.

– Нет, в Англию. Ты поедешь туда учиться и познакомишься там с принцем Гарри...

– С кем?

– С сыном принцессы Дианы, тетеря! Вы познакомитесь, и ты ему понравишься, и он сделает тебе предложение...

Даша только глазами заморгала.

– Ты даешь, мам.

– А что такого? Ты у меня девка видная, умеешь себя поставить. А случаи такие бывали – и на журналистках женились, и на официантках. Главное, мечту иметь, цель видеть, понимаешь? А не бросаться на первого попавшегося пацана!

– Па-адумаешь, – обиделась Даша. – Он мне вовсе и не нравится, этот твой принц. Рыжий, ушастый... Может, я еще и не соглашусь.

– Куда ты денешься, – хлопнула ладонью по столу мать, словно рыжий и ушастый принц Гарри с букетом наперевес уже был здесь и стоял перед Дашкой на коленях, а та кочевряжилась. – Стерпится – слюбится! Другое дело, если семья будет против. Ну что ж, тогда можно не жениться, а пока так.

– Мам, да ты у меня, оказывается, широких взглядов!

– Знаешь, если у человека есть цель...

– То она оправдывает средства?

– Вот, умница. Рано или поздно всегда можно получить свое. Камилла же получила!

– Кстати, в Дании еще есть неженатый принц. Фредерик.

– Вся-то их Дания размером с Верхневолжскую область...

– А тебе мало!

За окнами сыпал мелкий снежок, крутился по улице вихрь, словно щенок, играющий со своим хвостом, а мама с дочкой отрезали себе еще по куску торта и, сблизив головы, делились наполеоновскими планами по завоеванию Европы...

Глава 8

На кухне – Сережа прислушался – мать била посуду и плакала. Она плакала и била посуду уже вторую неделю, потому что руководство телеканала решило ни с того ни с сего взять на ее место нового диктора.

О предстоящей замене Анна Алексеевна узнала внезапно. Отдыхала перед телевизором и вдруг услышала объявление, вклинившееся в разноцветный поток рекламных роликов, сделанное знакомым голосом студийного звукорежиссера Николая:

– Телеканал ВТВ объявляет кастинг на роль ведущего. Требования к кандидатам: юноши и девушки до двадцати пяти лет, хорошие внешние данные, отличная дикция, высшее образование желательно. Резюме принимаются по адресу...

У Анны что-то оборвалось внутри. Она сразу же кинулась звонить в приемную директора канала, но начальник не пожелал с ней разговаривать.

– Господин Кравцов не может сейчас уделить вам времени, чем я могу вам помочь? – нахально, как показалось Анне, заявила секретарша.

Уж она-то точно ничем не могла помочь! В этот же вечер Анна Алексеевна ворвалась в кабинет Кравцова и устроила там безобразный скандал, о котором ей потом было стыдно вспоминать. С рыданиями, с упреками в неблагодарности, с перечислением собственных заслуг, с упоминанием о прежнем начальстве, которое умело ценить кадры, с сожалением о своей безвременной смерти на улице... По мнению Анны, лицо телеканала было неотделимо от ее собственного лица, зрители привыкли видеть на экране ее, Анну Акатову, слышать ее спокойный голос, они даже вечерний выпуск новостей пропустят мимо ушей, если вести его будет не Анна!

Кравцов слушал и морщился, но потом утешил развоевавшуюся сотрудницу весьма любезно:

– Анна Алексеевна, поверьте, это не мое решение. Мне самому очень тяжело. Но там... – он поднял глаза к потолку, намекая на некое вышестоящее руководство, которое обосновалось в столицах и которого в Верхневолжске сроду не видали, да и существовало ли оно в принципе, – там решено было реформировать канал, привести его в соответствие с духом нового времени, чтобы привлечь молодую аудиторию. Нужен новый диктор, активный, энергичный. Мы знаем, как много вы для нас сделали, и конечно же никто не собирается выбрасывать вас... хм... на улицу. Для вас, конечно, найдется работа на канале. Вот, например... В общем, мы что-нибудь придумаем!

Кое-как замазав тональным кремом покрасневший от рыданий нос, Анна отправилась читать вечерние новости. Разумеется, от волнения она сбивалась, путалась, полминуты сражалась с подвернувшимся неподъемным словом «реструктуризация» и тем укрепила начальство в желании найти ей замену – раньше-то начальство хотя бы полагало: грамотная речь Акатовой искупает то обстоятельство, что лучшие дни ее лица уже позади...

А на следующий день, проходя знакомым наизусть коридором, Анна Алексеевна увидела соискателей на свое место. Небольшая группа симпатичных девушек и серьезных юношей у приемной директора – они явно пришли на собеседование. Вот, значит, и все.

Ей предложили должность офис-менеджера.

– Это что? – удивилась Анна.

– Координировать работу офиса, – еще более непонятно ответили ей.

На деле новая должность означала сплошные хлопоты. Отвечать на телефонные звонки, закупать ручки, дискеты, бумагу и прочую дребедень, исполнять обязанности курьера и получать за это смехотворные деньги.

– Насколько мы знаем, вы не вынуждены добывать себе средства к существованию, –

напрямую сказал ей Кравцов.

– Нет, но...

Анна поняла – начальство намекает на бизнес Вадима. Что и говорить, из чужих рук копейка рублем выглядывает. Окружающих вводили в заблуждение ухоженный вид Акатовой, ее эксклюзивная шуба, то, как она говорила: «Мой муж занимается мехами».

Ах, как эффектно звучало! На самом деле лучшие годы мужниного бизнеса, как и лучшие годы Анечкиного лица, были позади. Конкуренция, рост цен, налоги, упорные гонения на малый бизнес... А ведь Верхневолжск не такой уж богатый город, и даже самая записная модница не станет каждый год покупать себе шубу! Вот и остались у Акатова маленький магазинчик в центре города, да витрина в новом торговом центре, да пара точек на разных рынках, дохода с них кот наплакал, но Анна скорее умерла бы, чем рассказала об этом своему жестокосердному начальству.

– Эта должность прямо-таки предназначена для человека инициативного, бодрого, молодого, – неизвестно к чему заметил начальник, и Анна поняла намек.

Она уволилась по собственному желанию. Лучше уж остаться у разбитого корыта, чем служить на посылках у всей конторы и слушать гадкие смешки у себя за спиной! Никто над ней не посмеивался, Анне только казалось, но она этого не осознавала. Она решила другой работы не искать, да и куда ей, если повсюду в объявлениях «до тридцати лет». Ах да, у нее есть диплом. Она может работать учителем английского языка в школе. Но об этом страшно даже подумать... Гудящий класс, скрипящий по старой доске мел, два десятка оболтусов, любящих себя и беспощадных к окружающим... Да и потом, многое уж забылось, сколько лет без практики...

Она уйдет с гордо поднятой головой и наконец-то займется собой, домашним хозяйством, будет помогать сыну с уроками, окружит нежной заботой мужа. Придумает себе какое-нибудь интересное и полезное хобби, да вот хотя бы научиться вязать! Свитера там, носочки, шарфики. Это, говорят, нервы успокаивает...

Но как выяснилось, от хозяйственных дел Анна совсем отвыкла, сын почти вырос и не нуждался в ее опеке, а муж вообще редко появлялся дома. Вязание же оказалось делом сложным и путаным. Разноцветные клубочки шерсти еще долго странствовали по всему дому, появляясь в самых неожиданных местах, а вот Анна никак не могла найти себе места, все валилось у нее из рук, и, принимаясь за мытье посуды, она разбивала всякий раз то чашку, то тарелку и сразу начинала плакать, словно найдя наконец-то законный повод.

Сережа жалел маму, но выразить свое сочувствие не мог – он и сам-то нуждался в сочувствии. Даша вела себя странно – на сообщения не отвечала, телефон ее большей частью был отключен или звонки сбрасывались. Он мог бы подождать девушку возле школы или около подъезда ее дома, выяснить отношения... Но ему не хватало решимости. Да и что выяснять? Все ясно.

Он предпочитал валяться дома на диване, изнывая от невнятных дурных предчувствий и терзая кнопки телефона. Сережа посылал по три десятка сообщений в день. Они были разные по тону – нежные, шуточные, обиженные, – но неизменно многословные. Это длилось две недели, четырнадцать дней, когда земля уходила из-под ног, когда окружающим приходилось любой вопрос повторять по два раза, а в сердце тикал часовой механизм беды – бомбы замедленного действия. Наконец он решился и послал сообщение покороче: «Скажи только: ты больше не хочешь меня видеть?» И получил еще более короткий ответ: «Не хочу. Извини».

Как ни странно, вначале он ощутил что-то вроде облегчения, как будто его две недели держали взаперти, в клетке неопределенности, а теперь дверь распахнулась, он свободен. Но вскоре Сергей понял, что одной свободы мало. Куда бы он ни шел, что бы ни делал – образ Даши стоял перед его внутренним зрением неотвязно, неизбежно, словно вытатуированный на обратной стороне его глаз. Он даже не вспоминал ее, просто она все время была с ним. Дашино лицо с природным румянцем, золотое пламя пышных волос, которые она то затягивала в тугую косу, то распускала по округлым плечам, – и какое это было

наслаждение, гадать, какую прическу она сделает сегодня! – всегда сосредоточенный взгляд и забавная гримаска, волшебная дудочка гамельнского крысолова.

Он страдал от первой своей безответной влюбленности, усугубленной вдруг тем, что вспомнил ее, понял, откуда взялось ощущение «дежавю». Конечно, Сергей встречал Дашу раньше, в детстве, на елке! У нее была коса, как у Снегурочки, и он влюбился в нее сразу и на всю жизнь, а потом, сам не зная почему, забыл, как можно забыть только в пять лет. И что-то еще было в тот день, не такое приятное, но необычное, оставшееся в голове щекочущим знаком вопроса – круто загнутый крючок все цеплялся и цеплялся за ткань жизни, оставляя затяжки.

– Да что с тобой такое? Влюблен ты, что ли? – молвила мимоходом Римма словно в шутку, но, приглядевшись к внуку, только рукой махнула. – Эх ты, попрыгунья стрекоза! Не вовремя затеял амурные делишки. У тебя экзамены впереди, выпускные, да и вступительные. Не плачь, девчонка, пройдут дожди!

Сергей понимал, что проницательная бабушка намекает ему на то, чем пугали несколько последних лет, – на армию. «Смотри, не поступишь, заберут в армию, а там дедовщина, всякие ужасы, это тебе не танцы танцевать!» В то, что ему придется служить, он не то чтобы не верил, просто эта угроза не казалась реальной. Учится он неплохо, не дурак же, по всем предметам ровно. Правда, ни к чему, кроме танцев, особенной склонности не имеет, но и это не беда – выбор за него сделали старшие. Даже вероятность провалиться на экзаменах они обдумали, обсудили и пришли к решению.

– Сунем в лапу, кому там надо, и дело с концом, – сообразил Вадим Борисович, но сам подумал, сдержав вздох, что дела идут не так уж хорошо и что сынок вполне может сходить послужить. Он вот служил, и ничего! Хотя тогда, конечно, поспокойнее было. Загребит еще пацан в горячую точку...

– Дороговато встанет, – иронически посетовала Римма. – Придержите, папаша, деньги, еще пригодятся, если не поступит на бюджетное отделение... Что бы вы без меня делали, а? Матушка военкома в нашем институте наблюдается, приятельница моя... Все наладим!

Анна посмотрела на мать, их взгляды скрестились, и на секунду они проникли в мысли друг друга, потому что думали об одном и том же. Когда-то, давным-давно, Римма уже наладила одному парнишке жизнь...

Нина, ее старшая дочь, любимая дочь, надежда и гордость семьи, влюбилась по уши и выбрала для своего первого чувства не самый подходящий, по мнению семьи, объект. Пока отношения Ниночки с долговязым одноклассником выглядели детской дружбой, Римма Сергеевна не вмешивалась. Нина и Леонид учились вместе с первого класса, много лет сидели за одной партой. Мальчик часто бывал у них дома – помогал Ниночке, у нее всегда были нелады с точными науками. И Римме он даже нравился. Худой, сутулый, в старомодных очках, на локтях пиджака всегда кожаные нашлепки-заплатки, по моде, по вечной моде бедности. Он жил с матерью в коммунальной квартире, мать работала на почте, старший брат его жил где-то далеко, подался за длинным рублем на север, а отца он не помнил. Римма помнила его мать по родительским собраниям – худую, молчаливую, с коротко стриженными седыми волосами, с неласковым блеском черных глаз.

Римма жалела мальчика и подкармливала пирожками. Мы же не нацисты, антисемитизм – это глупо и неприлично! Ну что может быть дурного в том, что его фамилия Шортман? Мальчик в этом не виноват! Римма гордилась широтой своих взглядов до того самого дня, когда любимица выдала ей свои планы на будущее:

– Мамуля, мы с Ленькой решили пожениться! Ой, да не хватайся за голову, не прямо же сейчас! Вот поступим оба в университет, и тогда уже...

– Вы сначала поступите, – сухо посоветовала Римма, исхитрясь спрятать бушующую в ее душе бурю. – И как это ты надумала? Мне казалось, что между вами только дружба. Он такой нескладный, нелепый, он не пара тебе!

– И мне так казалось раньше, – кивнула Ниночка. Глаза у нее сверкали от юной, неудержимой радости, и ей казалось, что мать тоже должна радоваться вместе с ней, и она

недоумевала: отчего у той такое странное выражение лица?

– Даже и не знаю, что тебе сказать. Как-то я не предполагала, что тебя может увлечь такой бесцветный юноша...

– Что ты, какой же он бесцветный! Он умный, и чувство юмора у него, и он так меня любит!

В чем, в чем, а уж в этом Римма не сомневалась. Конечно любит! Легко любить такую красавицу, да еще и с жилплощадью! Им дай волю, этим Шортманам, они всюду пролезут, родню с собой проведут, чесноком навоняют! Вот! Вот до чего доводит желание продемонстрировать широту взглядов! Ну да мы еще посмотрим, кто поступит в университет, а кого ждут другие университеты, жизненные!

– Быть может, не стоит стрелять из пушки по воробьям? – утешал разгневанную супругу Алексей Васильевич. – Она же говорит, что поженятся они потом, позже... Вполне в нашей воле растянуть это «позже» вплоть до самого «никогда». Подумай сама: вот Ниночка поступит на свой исторический факультет. Новый образ жизни, новые друзья, быть может, новые мальчишки... Она сама его забудет!

– А если не забудет? – заходила Римма. – Ты же знаешь, какая она, если что вобьет себе в голову... Нет, нам нужно срочно принять меры!

Меры были приняты. На вступительных экзаменах в университет такой умный Леонид Шортман недобрал несколько необходимых баллов. К слову сказать, Римма Сергеевна к этому была непричастна. Вероятно, в комиссии тоже сидели люди, которые полагали, что «им дай волю, этим Шортманам, они всюду пролезут, родню с собой проведут». А вот для того, чтобы очередная медицинская комиссия признала Леонида годным к прохождению воинской службы, с его-то близорукостью, предполагаемая теща постаралась!

– Не волнуйтесь, Римма Сергеевна, мы его отправим туда, где он два года только ишаков видеть будет! – пообещал ей некий серьезный человек, умевший быть благодарным.

– Спасибо, спасибо вам! Как матушка ваша? Как ее сердечко? Не беспокоит? Заглядывайте, если что!

– И вы тоже!

Эта женщина так много знала о сердце и, быть может, оттого виртуозно умела разбивать сердца? Она делала зло бессознательно – да ведь и мало бывает на свете людей, которые говорят внутри себя: «Вот, сейчас я пойду и сделаю то-то и то-то дурное», так и Римма была уверена, что действует во благо, пусть даже окружающие пока не могут понять этого блага. Шортман угодил служить в войска, именуемые в просторечии «стройбатом», для остального он был непригоден, близорукость-то никуда не делась. А местом службы стала для него самая окраина солнечной республики Туркмении. И это он еще должен был радоваться, что интернациональный долг страна выплачивала без его участия!

Человек, любивший свою маму и умевший быть благодарным, сдержал свое обещание. За два года Леня повидал, кроме ишаков, многое – правильно говорят, мол, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться! Сбылось его желание путешествовать, посмотреть мир. Он повидал Кушку, самую южную точку страны (недаром говорят военные, что дальше Кушки не пошлют – но тогда посылали и подальше), Самарканд, Мары, Чарджоу, он повидал Байрам-Али, известный своим санаторием, главный корпус которого был когда-то резиденцией последнего государя всея Руси...

В Самарканде Леня и его товарищи работали на некоего князька республиканского масштаба, имевшего удивительную страсть к возведению роскошных минаретов, которые по документам неизменно проходили как дворец культуры, банно-прачечный комбинат либо санаторный комплекс. На деле же эти щедро оплачиваемые из государственной казны постройки служили дачами самому князьку и трем его любимым женам, а также детям от них. Ворочая лопатой неподъемно-тяжелый, мгновенно застывающий на жгучем солнце раствор, Леонид видел краем глаза, как хозяин республики выкарабкивается из монументального своего автомобиля. Каждый день он приезжал посмотреть, как продвигается строительство, каждый день демонстрировал трудящимся солдатам свое

наливное брюшко, обтянутое светлым костюмом, лоснящуюся от довольства физиономию, украшенную сверху парчовой тубетейкой!

– У-у, джалаб, сволочь, – бормотал, отворачиваясь, узбек Хабибула, напарник и приятель Шортмана. – Надо тут работу шабаш, а то убивать его стану!

Несложные мечты Хабибулы сбылись – их перебросили в Чарджоу, вернее, в бывший Чарджоу. В тот год вышла из берегов, не выдержав чудес современной ирригации, Амударья. Река разлилась, смыла с лица земли саманную, глинобитную правобережную часть города. Его нужно было восстанавливать, вернее, отстраивать заново. И снова – неподъемная тяжесть раствора, пятьдесят пять градусов в тени, адская работа, пот, соль, грязь. Шлепали босиком голопузые, чумадые дети. Женщины плакали, невозмутимые мужчины сидели в чайханах (чайханы-то они не поленились, отстроили своими силами!), ели плов и шашлык, пили ведрами чай, курили анашу. К чайханам по ночам к кухне приходили шакалы, копались в грудах объедков.

Как-то Леня решил, по примеру местных детей, прогуляться босиком, до волдырей сжег себе подошвы ног и лежал в лазарете. Леня лежал в лазарете и в Марах, где его укусила недружелюбная сколопендра. Нога раздулась и сильно болела, шпарила температура, а он лежал и радовался. Радовался тому, что его укусила относительно безобидная сколопендра, а не каракурт, не кобра, не эфа. Радовался передышке от тяжелой работы, чистым простыням, даже Хабибуле, который, явившись под вечер навестить приятеля, рассказывал ему ломаным языком одну и ту же историю, других он не знал:

– Когда меня армия провожал – мать плакал, отец плакал, Хабибула не плакал. Старший сестра плакал, младший брат плакал – Хабибула не плакал. Весь кишлак плакал – один Хабибула не плакал. И тут мой любимый ишак как закричит: «Ха-би-бу-ла! Ты ку-да?» И тогда я взял и заплакал...

Шортман смеялся. А потом он встал, вышел из лазарета, и они с Хабибулой пошли в чайхану отмечать его выздоровление. Большой шампур шашлыка там стоил пятьдесят копеек, а хлеб, лук и чай к нему полагались бесплатно, и на солдатский доход в три шестьдесят можно было устроить пир горой! Впрочем, их и без того кормили неплохо – крайняя южная точка приравнивалась к крайней северной, так что Ленька, не избалованный домашними разносолами, даже поправился и поздоровел.

Он так и писал Нине – что поздоровел и даже поправился, что видел варана и испугался: «Представляешь, он как крокодил! Бегает быстро и довольно противно на растопыренных кривых лапах, отклячив хвост. Я познакомился с довольно крупной тварью – в длину метра полтора. Увидел меня, весь надулся, шипит, пастью щелкает – пугает. Говорят, может и укусить, и даже откусить палец. Но меня не укусит, ты не бойся! Мне их жаль – говорят, их истребляли тысячами ради их кожи, пригодной для изготовления обуви, сумок, прочей ерунды. Сейчас охотиться на них нельзя, но они-то этого не знают, так что можно извинить им некоторую агрессивность!»

Письма он отправлял на свой домашний адрес – уговаривались, что Ниночка по дороге из института будет забегать к его матери, читать корреспонденцию и там же писать ответ. Римма Сергеевна была довольна и спокойна, но вскоре почувствовала неладное.

«Что-то она мудрит. Не может быть, чтобы Нина, с ее-то упрямством – вся в нас, в гордеевскую породу! – так легко отказалась от задуманного. Но как тогда? Письма и газеты я достаю первая. Счетов за междугородние разговоры не присылали. Странно, странно...»

Солнышко ясное всю правду откроет – гласит старинная еврейская пословица. Раз в солнечный, яркий денек Римма зашла к дочерям в комнату. Девочки там сами поддерживали порядок, но за ними глаз да глаз, хоть какой-то недочет, а найдешь. Вот и теперь – в лучах ясного солнца Римма заметила, что на шкафу скопилось очень много пыли, такой толстый слой! И по пыли прочерчена широкая колея – кто-то пододвигал к краю, а потом отправлял обратно тем же маршрутом большую шляпную картонку. Кому она понадобилась? Издавна в ней хранились елочные украшения...

Помимо игрушек, круглая коробка таила и еще одно хрупкое сокровище, хрупкое,

потому что нет ничего более непрочного, чем счастье! Римма быстро пролистала письма – их было много, читать не перечитать. Наткнулась глазами на строчку: «...потом, когда я вернусь и мы будем вместе, будем жить вместе и никогда не расстанемся...» – и вздрогнула, как от укола. Вот оно что, еще ничего не кончилось, рано она радовалась! Значит, пришла пора действовать решительно, с открытым забралом. Она списала с конверта адрес получателя, аккуратно сложила письма в прежнем порядке, положила в коробку и задвинула на шкаф. Даже пыль стирать не стала.

И вечером того же дня – воскресного дня, какие выдаются только в мае, – Римма Сергеевна нанесла исторический визит мамаше Шортман С.А. Долго выбирала наряд, чтобы не похоже было, будто нарочно вырядилась, и чтобы выглядеть хорошо, достойно, чтобы с первого же взгляда было видно – она другого поля ягода! Утереть нос раз и навсегда! Правда, бестрепетная Римма немного заробела, когда перед ней открылась дверь. Она помнила Софью Шортман по родительским собраниям в школе – усталой, заезженной жизнью бабой, никогда не говорила с ней и не смотрела ей в лицо. Оказалось, что лицо у нее умное и злое, а в глазах – пресловутая вековая печаль.

– Чем обязана? – спросила Шортман С.А. весьма любезно, но слышалась в ее голосе и ирония. Но не родился еще человек, способный Римму Сергеевну сбить с толку!

– Вы меня не пригласите? Разговор у нас будет долгий...

– Прошу вас, присаживайтесь.

Римма опустилась в тяжело вздохнувшее кресло, на круглом столике рядом рассыпаны были фотографии – очевидно, С.А. их рассматривала перед приходом незваной гостьи. Она торопливо сгребла их в кучу, но Римма успела увидеть одну, на ней парень, похожий на Ленку, но на вид постарше, обнимал за плечи молоденькую девушку с длинными черными волосами.

Разговор оказался не очень долог. Молча выслушав все сетования гостьи, Софья Ароновна только вздохнула. Отошла к окну, закурила.

– Вполне понимаю ваши претензии. Вам не нравится Леонид, вы считаете, что он не подходит Ниночке. Я полагаю иначе, мне Нина очень симпатична, но... Что мне нравится или не нравится, это дело только мое. Поспешу вас успокоить. Леонид демобилизуется, и мы с ним уедем. – Она махнула рукой с сигаретой, посеребрив свою поношенную черную юбку пеплом. – Туда. Домой. Я связалась со своими родственниками в Израиле, через столько лет... Но вам это не может быть интересно. Он хороший сын и не ослушается меня. Писем тоже больше не будет. А теперь простите, мне нужно побыть одной. И удачи вам в объяснении с Ниной. Прощайте. Извините, я вас не провожаю.

И Римма Сергеевна ушла с таким чувством, будто это ей самой утерли нос. Пренебрежительное, надо сказать, чувство.

Знала мамаша Шортман, что говорила, когда желала Римме удачи. Разговор получился тяжелый. Запершись в комнате, мать с дочерью выясняли отношения, мучительно стараясь понять друг друга. К их чести, нужно сказать, обе они очень старались... Но у них не получилось. Трудно стало жить в доме после этой истории, о которой никто больше не упоминал, словно и не было Ниночкиной школьной любви. Заклеивали на зиму окна – а в доме все равно было холодно. По вечерам садились всей семьей за стол, как раньше, но самый сладкий чай отдавал полынной горечью, вся еда казалась безвкусной. А чем солить соль, если сама соль стала пресной?.. Пытались вместе по вечерам слушать музыку, но и в Бахе, и в Моцарте звучала та же невысказанная обида...

А кончилось все это тем, что Нина, приложив титанические усилия, перевелась в Москву. Провожали на вокзале всей семьей. Римма Сергеевна, силившаяся казаться веселой, принужденно подыгрывающий ей отец и Анечка, испуганная чем-то, вся сжавшаяся – словно окружающая фальшь давила на нее, ломала ее. Одна только Нина была неподдельно весела, без конца целовала сестру и хохотала по пустякам, запрокидывая голову, раздувая молодое горло. Причина ее веселья выяснилась много позже – проводница уже курлыкала, призывая провожавших покидать вагоны, Нина стояла на ступеньках, небрежно помахивая рукой, и

Римма напоследок притянула дочь за плечи, чмокнула и тут же принялась платочком стирать с ее щеки карминовый отпечаток губ.

– Девочка моя, как мы без тебя будем, я уже скучаю... Но ты же приедешь на каникулы, верно? Зимой?

– Я не приеду, мама, – ответила ей Нина таинственным шепотом, как бывало в детстве, когда она шептала матери свои заветные секреты. – Извини. Я никогда больше не вернусь.

Тут проводница оттеснила Нину, с лязгом поднялись ступени, что-то загрохотало, взвизгнуло, и медленно, как во сне, поплыл поезд вдоль платформы. Римма смотрела растерянно, потом оглянулась на своих – они улыбались, махали руками, они ничего не слышали и не поняли. Они пошагали за поездом, высматривая в окне Нину, а Римма осталась стоять, как Лотова жена. На углу две разбитные деревенские девахи торговали розовыми пионами, и пионы цвели у них на щеках. Цветы свешивались из эмалированных ведер, выглядывая из-под влажной марли, и у каждого прохожего в руках было по растрепанному букету, и ветерок мел по перрону поземку из тугих лепестков.

Глава 9

Бывает так, что живет семья – и все идет своим чередом, случаются несчастья, но бывают и радости, старики умирают, рождаются дети, кто-то преуспевает, заключает солидные сделки или получает правительственные награды, кто-то бедствует, хворает либо попадает в места не столь отдаленные, так ведь недаром говорят, мол, не зарекайся... Порой строятся дома, а порой приходится собирать на погорелое, и все это жизнь, все в порядке вещей, и воспринимается людьми не без ропота, но все же как должное. Но бывает и так, что налетит вдруг словно вихрь какой и все разметет, рассвистит, разорит гнездо, словно во время войны, да без войны...

А началось все с того, что Анна Алексеевна, получив в свое распоряжение бездонную бездну свободного времени, заинтересовалась вдруг жизнью супруга. Лучше бы она сыном побольше интересовалась, ей-богу! Стала звонить мужу на сотовый – по поводу и без повода, несколько раз на дню, принялась придумывать какие-то совместные дела и развлечения, чего в их семье не водилось уже давно, запланировала отпуск, практически второй медовый месяц, на берегу теплого моря и, что хуже всего, взяла манеру наведываться к супругу на работу. Ее можно понять – ей хотелось почувствовать себя нужной, но ведь сколько беспокойства от нее, сколько переполоха! Явилась как-то на дальнюю точку, прикинувшись покупательницей, перемерила кучу шуб и пальто, капризничала, гоняла продавщицу, а когда, по ее мнению, с ней недостаточно церемонно обошлись, закатила отчаянный скандал, назвалась женой хозяина и грозилась ему пожаловаться. Это было неуместно и неприятно. Мало ли что Анна могла узнать во время одного из своих спонтанных шоп-туров! На каждый роток, известно, платка не припасешь...

«Слишком много свободного времени» – такой диагноз мысленно вынес Вадим Борисович своей супруге и уже готов был сочинить для нее какое-нибудь заделье, но долго раздумывал и колебался. Самое неприятное, то, чего давно опасался и чего втайне желал, оно свершилось. Анна выловила-таки сплетенку о том, что жена хозяина, мол, как бы и не жена ему, а одно только звание, говорящая голова из телевизора, а настоящая жена ему – Галина. Помощница, правая рука, она-то, по правде говоря, не только настоящая жена, но и настоящая хозяйка, поскольку сам Акатов любит только из себя большого босса изображать, а в деле не смыслит. А ведь подумать только, Галина-то Тимофеевна, говорят, когда-то то ли домработницей, то ли нянькой у Борисыча служила. Теперь же она – смотрите-ка на нее! – одевается и выглядит как королева, и вся власть ей дана, и девочка ихняя, дочка, значит, тут же, словно наследница всего дельца, а дельце-то пусть невелико, да зато чистенькое, кругленькое, так-то оно лучше! Известное дело, есть у Акатова и от жены сынишка, только он что-то вроде дурачка, балованный, с делом незнаком, к работе не приучен...

За исключением кое-каких незначительных деталей, народная молва, как это часто

бывает, гласила чистую правду, и Анна поняла это. Ох, что было, что было! Она и плакала, и кричала, то требовала от мужа объяснений, то уверяла его, что ей никакие объяснения и оправдания не нужны. Она то собиралась уходить из дома, то вдруг спохватывалась, что идти ей некуда, что она, в конце концов, у себя, и начинала гнать уже изменника. Но не успевал Вадим Борисович стянуть с антресолей чемодан, как супруга снова ударялась в слезы и умоляла его объяснить, как такое могло произойти... И все начиналось по новой. В скандале Анна, не стесняясь, задействовала всех – и мать, и сына, и чуть было не соседей по лестничной клетке. Римма Сергеевна, с одной стороны, пыталась помирить супругов, доказать дочери, что худой мир всяко лучше доброй ссоры, с другой же стороны, ее грызла собственная печаль, давняя обида, и она не могла не выместить ее на проштрафившемся зятке. Сергей сначала пытался абстрагироваться от родительских проблем, справедливо полагая, что они сами разберутся, да и потом, он был слишком занят собственными переживаниями. Но вскоре он услышал нечто не предназначенное для его ушей, – впрочем, ничего такого в жизни его родителей не осталось, все самые тайные подробности, самые интимные моменты, все было вытащено на свет и перетряхивалось у всех на виду! В общем, он услышал, что любовница отца, существование которой недавно стало для мамы явным, некогда состояла при нем, тогда шестилетнем инфанте, нянькой! Он прекрасно помнил ее. Галина Тимофеевна, няня Галя, Галочка, с которой он был так дружен, которая знала много волшебных сказок, у которой были добрые серые глаза и мягкие руки. И у нее была дочка. Послушная, красивая девочка, которая никогда не дерется и не обзывается. Дашенька. Снегурочка с толстой косой-колоском, в пушистых белых рукавичках.

– У нее ребенок от тебя? От тебя? Говори-говори, не стесняйся, если весь город знает, то и мне пора узнать!

– Ань, ну что ты, в самом деле... Ань, я ж не обижал тебя, я ведь... Это еще до тебя было, до того, как мы познакомились...

– Да ну? А девчонка-то ее Сережке ровесница. Значит, на два станка работал, многопрофильный ты наш?

Вадим Борисович только диву давался: откуда у выпускницы гуманитарного факультета, кандидата наук, между прочим, взялись эти словечки и ухватки базарной торговли? И эти разговоры повторялись каждый день, каждый вечер, каждую ночь – в любую минуту, когда провинившийся муж попадался Анне на глаза. Она делала все для того, чтобы он ушел, с каким-то диким восторгом разрушая семью, разрушая остатки того хорошего, что было между ними, разрушая собственную душу... Разрушение имело и материальный характер, – раз она решила уничтожить свадебные фотографии и, с перекошенным от злобы лицом, с трудом рвала отпечатанные на добротной бумаге снимки. Вадим отобрал у нее массивный семейный альбом, попытался запихнуть его обратно на полку между книг, задел какой-то фолиант, тот упал, раскрылся, и из него заскользили на пол сухие лепестки роз – алые, палевые, белые, уже прозрачные от времени, и Вадим так и не понял, почему Анна зарыдала еще громче, что ее подстегнуло....

И она добилась своего. В тот день он ушел и просто не пришел ночевать. И на звонки не отвечал. Анна, твердо решив достать благоверного, непрерывно названивала ему.

– Приди в себя, – сухо посоветовала ей мать. – Подтянись, что ты ходишь как халда! В тапочках, халат какой-то страшный откопала, под мышками дырки. И прости меня, мне кажется, ты уже давно не мыла голову и даже не умывалась. Если ты думаешь, что можно удержать мужчину...

– Тебя не спросила! – огрызнулась Анна. В первый раз она позволила себе разговаривать с Риммой в таком тоне. – Чья бы корова мычала, а твоя пусть помалкивает в тряпочку. «Удержать мужчину», надо же! Если ты такая умная, чего же папочку не удержала?

Римма Сергеевна ничего не ответила, ушла в свою комнату. Тут Анна, как ей и было рекомендовано, пришла в себя и задумалась. Почему мать-то не на работе? Для такого трудоголика, как она, устроить себе выходной в середине недели – вещь немыслимая.

Тихонько постучала в дверь:

– Мам, можно к тебе?

– Конечно, дорогая.

Римма Сергеевна сидела в своем любимом кресле – Вадим называл его императорским. И сидела как вдовствующая императрица – спина-струна, подбородок властно поднят, руки расслабленно лежат на подлокотниках. Складки простого домашнего платья лежат идеально, и прическа – волосок к волоску. Мать даже губы подкрасила! Но в комнате легкий беспорядок, на тумбочке возле незастеленной кровати стакан воды, какие-то пилюли в пузырьках и блистерах.

– Мам, а ты чего не на работе-то? Заболела?

– Да нет, ничего. Голова немного болит. Ночью заболела. И кру-ужится так, словно на карусели еду...

Анна встревожилась:

– Давай измерим давление, а?

– Не надо. Это только усталость. Ты пойдя приведи себя в порядок, переоденься, выпей кофе... Мне теперь нужно отдохнуть.

Анна пошла к дверям, но остановилась на пороге:

– Прости меня, ладно?

– Ничего, дочка. Я же вижу, как тебе тяжело. Все образуется.

И Анна вышла из комнаты, в самом деле пошла в ванную, приняла душ, долго сушила и укладывала феном свои непокорные волосы, переделалась, сварила кофе. Уже села за стол, но потом, сообразив что-то, поставила на поднос две чашечки, сливочник, вазочку с пастилой. Хорошо бы выпить с матерью кофе, как бывало раньше, еще в юности, когда они были так дружны, еще до того, как... Еще до всего.

Руки у Анна были заняты подносом, поэтому она не постучала, осторожно открыла ногой дверь в кабинет матери. Она не уронила поднос, не разлила огненный кофе на вытертый до основы, но такой красивый узбекский ковер. Она осторожно поставила свою ношу на письменный стол и только тогда присела на корточки рядом с матерью, лежавшей ничком на полу. Голова Риммы Сергеевны была странно вывернута, правый глаз закрылся, в левом, широко раскрытом, плескался ужас, из перекошенного рта рвались хриплые стоны.

...Пока мать лежала в больнице, пока врачи высказывались обнадеживающе-туманно, Анна, да и все близкие уверены были: Римма Сергеевна выкарабкается. Она ж железная леди! Стоит ей выйти из больничной палаты, как она сразу станет прежней, бодрой, подтянутой, несгибаемой. Но этому заблуждению суждено было развеяться.

Римма не стала прежней, даже когда вернулась домой. Правая сторона ее тела, как и лица, отказалась ей повиноваться, правый глаз остался незряч, речь невнятна. Она не могла больше работать, не могла обслуживать собственные нужды, едва ходила – Вадим Борисович на руках внес тещу в квартиру, с нелепой отчетливостью припомнив, как после ЗАГСа рвался нести Анечку по этим же стертым ступенькам вверх, а Римма Сергеевна брюзжала, доказывая, что это, мол, мещанский обычай. Так он и не взял на руки свою воздушную, в тюлевых воланах и оборках, невесту, а теперь вот тащит этот несчастный, нелепый костяк... Теперь-то она небось молчит, не возражает.

Вадим отогнал злые мысли, бережно доставил Римму в ее комнату, уложил в постель.

– Ну, мне пора. Выздоровливайте поскорее! – громко, словно говорил с иностранкой или с глухой, пожелал он теще.

Анна принялась суетиться, взбивать подушки, а Вадим, притворив двери, потряс головой и покрутил кистями рук – совершил, короче говоря, те жесты, что выдают внутреннюю неловкость. Он прокрался к выходу – хорошо бы улизнуть сейчас незаметно, избежать очередной тяжелой сцены. Хотелось повидать сына, но раз его нет дома...

– Уже уходишь?

В голосе Анны не звучало привычной уже язвительности, он был усталым, бесконечно усталым.

- Мне пора вообще-то... Но если надо, я...
- Я хотела тебя попросить, завтра приезжает Нина, так не мог бы ты...
- Да, я ее встречу. Конечно.
- Спасибо.

Вроде все уже было сказано. Вадим помялся с ноги на ногу, потом все же решился, вынул из кармана сверток:

- Это тебе. Деньги. На первое время...
- А... спасибо.

...Только на вокзале Вадим вдруг спохватился, что знать не знает, как выглядит невестка. Он с ней не был знаком. Анна с сыном пару раз ездили к ней погостить, Москву посмотреть. Вадим ни разу с ними так и не выбрался. Припомнил, что вроде бы в гостиной на пианино стояла примелькавшаяся фотография – две очень похожие друг на друга девушки стоят приобнявшись, сблизив головы. «Это снимок с Ниночкиного выпускного», – пояснила как-то Анна. Она на фотографии получилась очень хорошенькой и лукавой, потому и поставила ее на видном месте. Нина же казалась скорее печальной, платье на ней было не очень подходящее для сентиментального прощания со школой, маленькое черное платье, очень взрослое и строгое, а красные коралловые бусы, обвившие шею, вызывали смутную тревогу. Какая она теперь – столичная жительница, журналистка, модная штучка?

И все же он узнал Нину Алексеевну в толпе, моментально запрудившей платформу. Она была похожа на Анну, такая же худенькая, большеглазая. Но пышные вьющиеся волосы Нина стригла, носила очки с затененными стеклами и одевалась иначе. Анна никогда не позволила бы себе надеть такие мальчишеские джинсы и ветровку бешено-оранжевого цвета, как у дорожных рабочих, Анна любила строгие костюмы и чтобы блузочка, туфли, сумка – все было в тон, Анна не выходила из дому без макияжа. Лак на ногтях совпадает с цветом губной помады, тщательно подмазанное лицо, капля хороших духов. А Нина, казалось, вообще не пользовалась косметикой, и губы у нее были свежи без подкраски, улыбка искренняя. От нее веяло чистотой и лавандовой свежестью, и было в этом запахе нечто стародевичье.

А глаза у нее веселые. Веселые глаза – вот что отличало ее от сестры и матери. И было в ней что-то, чего не было в них, словно она не только надеялась на лучшее, что вообще присуще людям, даже самым отчаявшимся, но уже сейчас жила в этом лучшем, которое уже наступило. Преодолев секундное замешательство, она быстро нашла нужный тон, заговорив с Вадимом так легко, словно знала его всю жизнь, деликатно и умело («Работает в журналистике? Оно и видно») расспрашивала его о том, как живет младшая сестра, как чувствует себя мать, как сын, как «сам хозяин». Обычно немногословный, угрюмоватый, Акатов не успел заметить, как сказал ей больше, чем хотел, но и заметив, не ощутил досадливой остуды. Высадил Нину Алексеевну у подъезда, извинился, что не сможет подняться, дела-дела, а разворачиваясь, увидел в зеркало – она помахала ему рукой, как девчонка.

– Хорошая баба, – то ли сказал, то ли подумал он и с удивлением ощутил: в груди словно распахнули форточку, стало легко и прохладно. Словно другой жизнью повеяло подумал он. Другой жизнью, которая могла бы принадлежать нам всем. Если бы... Если бы что?

– Вадим даже не поднялся? Вот невежда, – такими словами встретила долгожданную гостью Анна Алексеевна, но тут же опамятовалась, бросилась ей на шею. – Добро пожаловать домой, сестренка...

Нина вернулась в родительский дом, как возвращаются после приятного, но утомительного путешествия. Знакомая прохлада комнат, знакомые запахи – книжной пыли и паркетной мастики. Только свет потускнел, но это не страшно, нужно просто вымыть окна, и повсюду вернуть лампочки поярче, и для всех найти улыбку и доброе слово! От ее смеха зазеленел и приободрился даже загнувшийся было без полива столетник. Переодевшись в яркий спортивный костюм, она ловко балансировала на подоконниках, сметала по углам

паутину, ухитрялась находиться сразу повсюду. В спальне заботливо поправляла матери подушки, в гостиной шепталась с сестрой, стряпала на кухне борщ, а подвернувшегося в коридоре племянника погладила по плечу мимоходом – ишь, как вырос!

– Куда поступать собираешься, юноша?

– В юридический, – ответила за него мать.

– В театральный, – бухнул Сережа.

– Я смотрю, согласие сторон пока не достигнуто, – покивала Нина. – Такое бывает. Ань, да не смотри ты на мальчишку как на Гитлера!

– Тебе легко говорить, – всхлипнула Анна Алексеевна. – А мальчишка совсем от рук отбился, обнаглел, пользуется тем, что бабушка больна, что отец из дома ушел, и все на мне, на мне! Ты знаешь, я...

Продолжения разговора Сергей не слышал – Нина потянула мать за рукав в другую комнату, заворковала что-то, утешая. А за ужином ему преподнесли сюрприз – предложение ехать вместе с теткой в столицу, попытать там счастья. Ну да, большой город, соблазны, опасности... Но ведь мальчик будет под присмотром!

– Вот только как Вадим на это посмотрит? – озабочилась было Нина, но Анна махнула рукой, по-старому беспечно:

– Предоставь это мне.

Ей неловко было в этом признаваться самой себе, но она ощутила облегчение. Присутствие в ее жизни взрослого сына, бремя ответственности за его будущее тяготило Анну.

Нина Алексеевна приехала встречать племянника на вокзал, что было, конечно, весьма любезно с ее стороны – ведь поезд прибывал на рассвете. Она весело и искренне расцеловала Сережу, обдав его волной легкого, свежего аромата, оставив на его щеках розовые пятнышки помады, и повела племянника сквозь вокзальную толпу на улицу.

– Здесь наше суденышко пришвартовано, – пояснила она, когда Сережа свернул было ко входу в метро.

«Суденышком» оказался кругленький ярко-желтый автомобильчик. Устраиваясь на переднем сиденье, Сережа с удовольствием подумал, что такую машину могла выбрать только женщина с чувством юмора. Впрочем, вела машину тетка средне – с ученической старательностью, чрезмерно пристально и напряженно. Когда притормозили у светофора, рядом с ними остановился автомобиль – иссиня-черный, как грачиное крыло, и огромный, как танк. За рулем сидела девица, похожая на кинозвезду, Сережа принял ее красоту как бы на веру, потому что почти не рассмотрел ее из-за белого платка, покрывавшего ее волосы, из-за темных очков, закрывавших глаза. На заднем сиденье томно развалились два помятых молодых человека, один, не таясь, пил из горлышка бутылки что-то зелененькое. На них смотреть было неприятно. Зато девица почувствовала на себе его взгляд, сдвинула на кончик носа темные очки и лихо подмигнула. Он почувствовал, что его физиономия сама по себе расплывается в дурацкой, счастливой ухмылке, но тут светофор перемигнул, иссиня-черный автомобиль взревел и скрылся из вида, и пришлось заново вникать в дружеский треп тетки. Кажется, она говорила, что накануне в редакции журнала был аврал, что всем пришлось туго, но номер наконец-то сдан и теперь она просто мечтает отоспаться.

– Как там Римма, Сережик?

– Все так же. Никаких улучшений... но и хуже не становится.

– Мама, должно быть, замучилась?

Сергей неопределенно кивнул. Отец все же раскошелился на сиделку. Ширококостная, широколицая, женщина приходила с утра – отчего-то ни с кем не здороваясь. Умывала свою подопечную, прибирала ее, кормила завтраком. Заканчивалась ее вахта поздним вечером, и уходила она не прощаясь, а чаще оставалась ночевать на узкой и жесткой кушетке в комнате Риммы... Она говорила так мало, что Сережа думал: не глухонемая ли? Но как-то услышал, что сиделка рассказывает Римме какую-то историю из своей жизни, а больная отвечает ей

теми гукающими и шипящими звуками, что остались ей взамен человеческой речи. Эти две женщины, казалось, вполне понимали друг друга, тем более что сиделка тоже произносила слова так, будто они состояли из одних только согласных. А мать боялась сиделки, ее угрюмости и молчания, и, вероятно, чувствовала себя лишней в собственном доме. Отец же заходил редко и боялся смотреть сыну в глаза, только совал деньги. Но об этом он не стал говорить тетке, тем более что они уже приехали.

Квартирка у Нины была в две комнаты – маленькая после провинциального раздолья. В прихожей не развернуться, балкон в длину два шага, в ширину полтора. Но светло и просторно, потому что мало мебели, мало вещей, нет ни ковров, ни тяжелых штор, ни диванных подушек. И пахло приятно, и вообще казалось, что живет тут юная, легкая на подъем девушка.

– Вот это будет твоя комната, осматривайся, осваивайся, прими душ с дороги, завтракай, чем сыщется, – скороговоркой пробормотала Нина. У нее слипались глаза, аврал давал о себе знать. – Я посплю, ладно? А проснусь, сходим куда-нибудь.

В холодильнике скучал одинокий йогурт, хлебница пустовала. Электрический чайник у тетки крошечный, холостяцкий. Кофе в банке осталось на доньшке, сахара вообще не нашлось, зато отыскалась банка оливок, банка маринованных мидий, бутылка водки и бутылка мартини. Вдохнув, Сережа сообразил, что тетка, верно, не питается дома. Что ж, будет и он привыкать к столичной жизни.

А через два дня Сережа уже стоял перед Щукинским училищем. Курс набирал народный артист России Рожницын. Кумир семидесятых, белозубый герой, советский аристократ, он с возрастом отяжелел, обрюзг, обзавелся язвой желудка. Он пережил свою славу, но не свой легчайший, очаровательный дар игры. Бледные абитуриенты делились невесть откуда добытыми сведениями: не любит смазливых, уважает тех, кто умеет танцевать. И петь. И плакать. Минус. Плюс. Минус. Плюс. Ничего, прорвемся!

Акатов поступил с первой попытки – очень понравился приемной комиссии. Понравился чуть больше, чем самому мастеру.

– Поменьше бы самолюбования, побольше искренности, – вздыхал тот.

– Обтешется, Юрий Григорьевич. Бери, не ломай голову, – нежно посоветовал ему Эрик, преподаватель танцев.

– Это только танцоры ломают не голову, а ноги, – непонятно проворчал злоязычный Рожницын. Но мальчика взял. Может, правда обтешется? Отчислить-то всегда успеем...

Глава 10

Она не любила вспоминать детство, она старалась не думать о нем – это было давно, и неправда, и не с ней. Но все равно вспоминала против собственной воли. Не так легко забыть холод, куцее пальтишко, дырявые сапоги, колготки, вечно порванные на коленях.

– Кости у тебя, что ли, такие острые, – бормотала мать, низко склоняясь над штопкой. – Починю-починю, и вот снова здорово...

Штопала мать плохо, вместо дырочки на коленке появлялась путаница из ниток, всегда не подходящих по цвету. Над Адой смеялись – сначала в детском саду, потом в школе, где мать работала буфетчицей. Она убегала от насмешников и все перемены напролет сидела в кухне, где пахло прогорклым жиром, кислым молоком, где мать совала ей украдкой карамельки. Твердокаменные, с намертво присохшими обертками, их клали в чай и в компот – вместо сахара. С сахаром по тем временам было туговато. А с чем не туговато? Колбаса считалась праздничным блюдом, мандарины – экзотикой, которую можно позволить себе лишь во время новогоднего застолья, шоколад – роскошью. Голодать не голодали, тем более что мать работала, как она сама говорила, «при харчах», но и только.

А еще этот вечный холод! Денег на хорошую одежду у них никогда не было, а север шутить не любит. У матери сохранилась с прежних, лучших времен котиковая шубка мех уже весь вытерся. И у Ады когда-то была пушистая рыжая шубка, но девочка давно из нее

выросла, из шубки сначала сделали безрукавку, потом мать переделала ее на воротник и обшлага для своей шубы. И котика, и рыжую лисичку покупал отец – давно, когда был жив. Аде казалось, что она помнила, – у отца были добрые глаза и черная мягкая борода, но не говорила об этом матери, та бы ее высмеяла. Мать обижалась на отца, словно он не погиб на производстве, а бросил их. За отца платили им небольшую пенсию, но мать относилась к ней как к книжке, копила на что-то. Зачем копила, если они так плохо, так безрадостно жили?

– Тебе на свадьбу откладываю, – говорила она Аде, которая по недомыслию начинала хныкать, просить конфет или обновку, и девочка успокаивалась. Дома она садилась за свой столик, брала карандаши и в альбоме рисовала себя – принцессу в белом тюлевом платье, с цветами на голове. Рядом черная машина – «Волга», нет, «Чайка», и кукла на капоте, и разноцветные ленты по ветру! В небе светит улыбающееся солнце, и летят птицы, их легче всего рисовать, просто ставь галочки. А жениха она никогда не рисовала, не знала, какие бывают женихи. Да и какая разница, какой он будет?

– Муж тебе и сласти, и красивую одежду купит, – кивала мать.

Но случилось так, что красивая одежда все же появилась в жизни Ады задолго до предполагаемого замужества.

Вот как это вышло: сначала почтальонка принесла какую-то бумажку, которую мать долго читала, хотя там была всего одна строчка написана, удивленно рассматривала, даже и на свет смотрела, чуть не на зуб пробовала. Потом мать взяла с собой Аду и пошла на почту. Была, как всегда, зима. На почте им дали взамен бумажки ящик, весь в каких-то бурых нашлапках. Мать посмотрела изумленно и погнала Аду обратно домой, за санками. Вдвоем они везли тяжеленный ящик домой и болтали, как подружки-ровесницы. Это бывало так редко! Под полозьями скрипел, как накрахмаленный, снег. Мама сказала тогда, что посылку отправила бабушка, папина мама, что она живет далеко, в другой стране. Она когда-то обиделась на мать за то, что Ада носит ее фамилию, а не фамилию своего отца. И вот после долгих лет нарушила молчание, прислала посылку. Наверное, что-то очень хорошее.

Но радость оказалась недолгой, куцей. Пыхтя, втащили посылку по лестнице – лифт снова не работал. Прямо в прихожей, не раздевшись даже, скинув только на плечи платок, мать стала вскрывать ящик ножовкой, а Ада стояла рядом и гадала: что там может быть? Сто килограмм конфет? Целый магазин игрушек? Шубка, сапожки, розовое платьице, как у вредины Наташки из второго «Б»?

Да, там были и платьице, правда, не розовое, а синенькое, и туфельки на каблучке, и джинсовый костюм с бисерной вышивкой, и серебряные кроссовки... Но, увы, все чудесные эти вещи были долговязой, голенастой Аде безнадежно малы, узки, коротки... Сколько тут было слез! Немного утешила Аду большая коробка иноземного лакомства – прозрачные, как холодец, ломтики, посыпанные сахарной пудрой, пахнущие духами, лежали в ней. Но заграничные конфеты только пахли хорошо, на вкус же оказались несладкими, мучнистыми, вязли на зубах, как дешевые ириски «Золотой ключик».

Да еще была кукла с тонкой талией, голубыми глазами, длинными светлыми кудрями... У куклы корона на голове, «взаправду золотая», у куклы целый гардероб, она принцесса, а хозяйка ее – замарашка. Для матери же нашелся в ящике голубой стеганный халат, красоты неопишуемой, в кармане которого упрятано было письмо, вернее, открытка. Синее-синее море, синее небо, пальмы, белоснежные дворцы, на исподе несколько строк, написанных сухим, четким почерком. Полюбоваться на открытку вдоволь мать отчего-то не дала.

Не пришедшиеся по размеру вещи в бедняцком доме не залежались – тут же их расхватили-раскупили соседки для своих деток.

– Ты, Клавдия, не реви, не надрывай сердца, – советовали матери кумушки. – С паршивой-то овцы, сама знаешь... А ты все не в убытке.

И долго еще терзали сердце Ады серебряные кроссовки на ножках-кубышках Пашки из соседнего подъезда, синее платье, которым форсила Рита с первого этажа! Правда, и они с матерью внакладе не остались, мать положила на «свадебную» книжку еще денег. И в тот день она купила бутылку водки. Ада знала уже, что это значит, – мать напьется допьяна,

будет плакать и петь гортанным голосом странные, старые песни на чужом языке, которым научила ее мать, а ту – ее мать, и так без конца, без конца... Она пьет неделю, две недели подряд, и древние песни древнего народа будят Аду по ночам, она просыпается, и смотрит, как мечутся по потолку тени, и прижимает к цыплячьей груди куклу-принцессу. Она любит куклу, причесывает и переодевает ее каждый день, разговаривает с ней и порой даже не успевает сделать уроков. Тем более что у Ады появилось больше домашних обязанностей. Мать не успевает убратся, не справляется со стиркой, а питается маленькая семья давно всухомятку, тем, что она принесет из буфета... За Клавдией стали просматривать – мол, не по чину она берет, но та быстро нашла выход, стала запихивать промасленные пакеты в портфель дочери, когда девочка забегала к ней на перемене. Однажды учительница рассердилась – отчего у Ады тетради и книжки вечно в жирных пятнах, приказала ей при всех вытряхнуть содержимое портфеля. В пакете оказались куски хлеба с маслом, сложенные один к одному, и булочки с посыпкой.

Их вкусно было есть так: слизать сначала сладкие крошки, а потом уже приступить к булочке...

После этого случая ее стали дразнить воровкой, огрызочницей, нищенкой, – мать выпивала все больше и чаще, она давно уже не штопала Аде колготок, не покупала новой одежды, а утюг сломался, и починить его было некому... По утрам мать охала, стонала, держалась за голову и посылала Аду в соседний подъезд за опохмелкой. Там бабушка того самого Пашки, которому перепали серебряные кроссовки, торговала втихаря каким-то дешевым пойлом, разливая его в бутылки из-под лимонада. Она внука одна поднимает, ей прибавка к пенсии во как нужна! Про адское зелье бабушки Настасьи говорили всякое: мол, как-то мужички возжаждали, подались к доброй шинкарке, а той дома не оказалось. Хорошо, внук Пашка знал постоянных клиентов в лицо – открыл им, согласился отпустить товар и принял в липкую ладошку положенную мзду. Деловито протопал на кухню и спросил мужичков, что, изнемогая от жажды, потянулись за ним следом:

– Вам покрепше иль полегше?

– Покрепше, покрепше, – закивали клиенты, подталкивая друг друга локтями. Ишь, какой молодец парень, все ухватки у своей бабушки перенял, дело изучил во всех тонкостях, помощник растет!

А Пашка тем временем добыл откуда-то из шкафчика пузырек дихлофоса и недолго думая на глазах у покупателей фуфыкнул пару раз отравой в горлышко зеленого бутылка...

И ведь что интересно – даже узнав, каким образом достигается нужная крепость напитка, неприхотливые мужички не забыли дороги к бабушке Настасье! Посмеялись, посудачили между собой, потеряли, жалеючи, бока с той стороны, где печень, а народная тропа так и не заросла! Узнала эту тропку и Ада...

Веровочка как ни вьется, а конец найдется. Как-то Клавдия употребила сверх меры на рабочем месте и оскандалилась – упала плашмя на раскаленную плиту. Увезли ее на «скорой», и на работу она больше не вернулась, уволили. Кому нужна в школе пьяница, да если у нее к тому же и рожа стала такая, что дети пугаются? А ведь красавица была в молодости, певунья...

И пришли такие времена, что прежняя жизнь Адочке показалась марципанчиком! Может, и пропала бы она совсем, как пропадают во всех концах бескрайней России такие же девчонки – допивают тихонько оставшуюся в стаканах бормотуху, становятся легкой добычей для материнских хахалей, завоевывают доступными средствами авторитет в дворовых компаниях, докатываются до борделя, до тюрьмы и кончают свои дни под забором – с круга спившиеся, больные, усталые, они радуются смерти, как избавлению. Но у Ады была воля к жизни и острый, цепкий ум. Добыла из шкапулки, где хранились документы, фотографии и просто бумажный хлам, открытку с синим морем и пальмами. Весточка от бабушки. Не угодила старушка с подарками, так что ж? Зато обратный адрес на открытке был – крупными иносезными буквами. Ада пошла на почту, там добрые люди показали ей, какой конверт надо купить – длинный, дорогой, весь залепленный марками. Там же,

примостившись на холодном подоконнике, вырвав из тетрадки листок бумаги в клеточку, она сочинила короткое послание, опустила его в ящик и стала ждать ответа. Порой сама горько смеялась над своей надеждой – вот дурочка, написала письмо «на деревню дедушке», а теперь ждет ответа, как соловей лета! Она уже перестала ждать, когда пришел ответ. Но не от бабушки. Та, оказывается, уже умерла. Написал Аде ее дядя, брат отца. Но обещал помочь. Обещал приехать и забрать ее к себе. Не теперь, но скоро. Когда уладит свои дела. Оказывается, голубой конверт облетел полсвета, прежде чем отыскал родственника, и где – в Москве! Впрочем, для Ады что Москва, что Хайфа, что Новый Орлеан – одинаково далеко, нереально, невозможно. Заберет к себе? Как же, держи карман шире! Лучше бы денег прислал, врун несчастный. Нашелся родственничек, благодетель!

Но он не врал. Он действительно приехал, приехал в самое трудное время, когда ноябрь выдался особенно холодным, когда с Анадыря задули ледяные ветра, когда Ада заметила, что у единственных сапог напрочь оторвалась подметка, когда в почтовом ящике обнаружили кучи бумажек – от Ады гневно требовали оплатить коммунальные услуги и что-то еще. Свои сапоги она отнесла в ремонт, сама пока ходила в материнских, благо той все равно ходить некуда, а за водкой своей проклятушей и в домашних тапочках сбегает, небось копыт не отморозит! А отморозит, так ей и надо! Бумажки же Ада жгла, не вынимая из почтового ящика, просто подносила к ним спичку – и ф-ф-фых! – горите синим пламенем, денег все равно нет, отцовской пенсии хватает на неделю, какая жалость, что месяц длится не семь дней!

Дядя Леня был высокий, чернобородый, так похожий на отца, которого Ада и не помнила совсем, но ведь на то была у нее фотокарточка – маленькая, выцветшая, с белым уголком! Отец на снимке очень молодой и очень серьезный, а дядя Леня все время смеялся, показывал чудесные белые зубы. Он приехал облаченный в невероятную какую-то доху, купленную специально для этого вояжа, и все равно мерз, поводил широкими плечами, потирал руки.

– Елки-палки, как вы здесь жили-то?

Аде очень понравилось прошедшее время в этой фразе. «Жили» – значит больше жить не будут. Значит, дядя Леня все же заберет их к себе. Если он это сделает, значит богатый. Конечно богатый, ведь только билет на поезд стоит целую кучу денег, не говоря уж о самолете! А если богатый, то его надо развлекать. И любить.

В порядке развлечения Ада научила дядюшку смешному и неприличному стишку:

Себя от холода страхуя,
Купил доху я на меху я,
Купив доху, дал маху я...
Доха не греет ни...

Дядя Леня долго и невесело смеялся, и гладил ее по голове своей большой рукой, и сказал, подняв ее за подбородок:

– Как ты похожа на Костю, как похожа!

Она и без него знала, что похожа на отца, хотя у нее не было ни пышной бороды, ни рук размером со снеговую лопату. Но просторный белый лоб, но тонкий нос с горбинкой, но нежная и презрительная складка ярко-розового рта! Ничего не было в ней от матери, по крайней мере, сама Ада полагала так. Мать казалась ей очень некрасивой, она забыла, какой та была до случая, обезобразившего ее. Низкорослая, испитая, с плоским лицом, с бесформенным шрамом на левой щеке, чем она могла привлечь отца? Но если бы глупая девчонка дала себе труд присмотреться, она поняла бы, что в ней слилась кровь двух древних народов, что от матери ей достались прекрасные черные волосы, прямые и блестящие, да высокие скулы, и, главное, раскосые темные глаза. Но Ада помнила только, что когда-то давно ее мать умела очень красиво смеяться, так, как смеются беспечные и открытые люди, но этот смех давно затих и больше не звучал. Никогда.

Клавдия, надо сказать, тоже обрадовалась появлению родственника, как-то подтянулась, даже помолодела. В день, когда получили телеграмму, она не выпила ни капли хотя Ада видела: в холодильнике стояла нетронутая чекушка. Стала суесться по хозяйству, в мгновение ока прибрала их захламленную квартиру, слетала на рынок, едва не сутки простояла у плиты... Белую скатерть и часть посуды пришлось одолжить у соседей, потрясенных таким перевоплощением Клавки-пьянчужки, но в день приезда дорогого гостя стол был накрыт как полагается: готовить-то мать умела, из самых непритязательных продуктов стряпала такие блюда – пальчики оближешь! Дядя Леня ел, и восхищался, и сетовал на то, что сам-то он готовить не умеет, вот и приходится столоваться по кафе, по ресторанам, и смерть как соскучился он по домашней кухне!

– Такого давно не едал. Заберу вас к себе, будете хозяйничать, – пригрозил он улыбаясь.

Мать улыбнулась в ответ, но ответила с достоинством:

– Мне, Леонид Львович, поздно уж по чужим углам мыкаться. Вот девчонку жалко. Куда ей деваться? Пропадет около меня. Кабы ей...

– Не чужой я вам, – напомнил дядя Леня. – И Ада мне племянница. А без матери ей рано оставаться.

И то правда...

Адочке показалось, будто что-то большее было сказано между ними в эту минуту. Дядя Леня словно просил прощения за что-то, а мать, поупрямившись, простила. В любом случае она приняла предложенную помощь, согласилась на перемену в их общей судьбе, да и попробовала бы не согласиться! Это Леонид Львович считает, что Аде нужна мать, а на самом деле она ей нужна, как безному самокат, Ада привыкла сама о себе заботиться и теперь с удовольствием согласилась бы не делить внимание и заботу дяди ни с кем, даже с матерью!

На другой день Ада повела дядю Леню в краеведческий музей – ему хотелось посмотреть резную кость. Они долго бродили по пустым залам, рассматривали в скупое подсвеченных витринах всякую дребедень. Где они проходили, там на пыльном паркете оставались протоптанные дорожки. Заспанные смотрительницы, в пуховых шالях, меховых тапочках, провожали парочку взглядами – в музей ходили редко, только во время каникул случались буйные набеги школьных экскурсий.

Ада скучала, судорожная зевота сводила ей челюсти, в ушах тикало от тишины. Она с большим удовольствием сходила бы в местный торговый центр, там было интереснее и уж всяко многолюднее. Но если дядюшке нравится – надо терпеть. В последнем, самом дальнем зале пыль лежала особенно толстым слоем. Дядя Леня загляделся на чучело полярной совы, стеклянные глаза птицы тускло отсвечивали янтарем. Ада склонилась над витриной и внезапно ее словно толкнуло что-то.

На позеленевшем от времени, когда-то черном бархате лежал нож. Широкий нож с тусклым плоским лезвием, с рукояткой из моржового клыка. Птицы на рукояти застыли в вечном полете – никогда не добраться им до виднеющихся вдаль, в наивной перспективе изображенных горных вершин.

Она протянула руку, и пальцы ее легко прошли сквозь мутное стекло. Кончики пальцев ощутили – костяная рукоятка была теплой, почти горячей, словно ее только что сжимала чья-то ладонь. Сердце у Ады заколотилось радостно, и тогда она взяла нож, и сунула в карман, и тут же у нее заглодел затылок – ей показалось, что со спины на нее смотрят пристальные, тусклым янтарным светом налитые, беспристрастные глаза.

«Что я делаю? Надо положить его на место, кто-то видел меня и сейчас ухватит за руку», – с ужасом сообразила она и потянула нож из широкого кармана своего свитера-анорака. Но положить украденное на место ей не удалось – толстое стекло не пустило ее руку внутрь витрины. Ада видела отпечаток ножа на черном, в прозелень бархате, видела узенькую бумажную ленточку, на ней были написаны какие-то слова, но нож оставался у нее в руке, и его пришлось снова спрятать в карман.

– Пойдем, детка.

Дядя Леня стоял рядом с ней, она не слышала, как он подошел.

– Почему у тебя такие холодные руки? И ты дрожишь. Озябла? Пойдем скорее.

Она дрожала, пока они спускались по широкой лестнице, трепетала под сонными взглядами смотрительниц, тряслась, пока натягивала в гардеробе свое пальто, лязгала зубами, когда дядя Леня вздумал задержаться у лотка с сувенирами! Но все прошло благополучно, Аду не задержали, не остановили, не схватили за рукав. Она вышла из музея, ощущая тяжесть ножа в кармане анорака. От ее шагов нож подрагивал, смещался, и кончик его, проткнув тонкую ткань майки, дотронулся до ее живота – нежным, почти влюбленным касанием.

А Клавдия в тот день осталась одна и не удержалась, потребила-таки дежурившую в холодильнике четвертинку, и отлакировала ее остатками красного вина, вчера подававшегося к обеду! Так что, когда они вернулись из турпохода, мать была пьяней пьяного и несла свою обычную чушь – сначала принялась упрекать кого-то за свою неудавшуюся жизнь, потом заплакала хмельными слезами и на десерт запела – подперев голову руками, тупо глядя в замызганную уже скатерть, завела один из тех гортанных древних напевов, что пела когда-то ее мать, а до нее – ее мать...

Ада обычно в такие минуты с матерью не церемонилась, гнала ее спать, иной раз поддавая острым кулачком в бок, но при дяде Лене делать это было нельзя, да к тому же он слушал пение матери, он правда его слушал, и лицо у него было сосредоточенное, грустное и просветленное, как у дурачка.

«Тоже пыльным мешком из-за угла ушибленный», – сообразила Адочка, и от души у нее отлегло, она-то опасалась, что из-за выходки матери дядя Леня передумает забирать их с собой в Москву. Только он все равно не передумал, а даже как бы утвердился в своем желании. У Ады мелькнула мысль: вдруг он влюбился в мать? Когда она причешется, наденет единственную свою приличную блузку и повернется необожженной стороной лица – она еще, пожалуй, ничего... Но при мысли об этом Ада вдруг почувствовала такое стеснение в груди, что испугалась: вдруг у нее сердечный приступ? Мать, бывало, хваталась за сердце с похмелья, жаловалась на боль и жжение... Но это была ревность, обычная, только очень сильная, особенно сильная потому, что Ада знала – мать не любит дядю Леню.

– Ради тебя только, – обмолвилась как-то Клавдия. – Кабы не было тебя, я б ни вот столько от ихней семьи не взяла. Нешто не знали они столько лет, что вдова их сына с ребенком одна без средств осталась? Да в жизни не поверю, чтоб евреи да так бедствовали, да не могли чем помочь, они всегда хорошо живут, хоть мне сроду не надо от них ничего...

Клавдия так и не простила покойной свекрови той злополучной посылки, и Ада понимала, почему мама недобрый словом поминает бабушку, и понимала, что мама не может любить дядю Леню, потому что его-то жизнь не была неудавшейся... Но Ада продолжала ревновать и потом, когда они все же переехали в Москву и поселились все вместе в большой квартире на двенадцатом этаже новостройки, откуда было видно чуть не весь город, где много было света, и воздуха, и красивых вещей, где у Ады была своя комната с белой козьей шкурой на полу, с мягкими игрушками, с новой одеждой в шкафу, с дорогой стереосистемой! И еще у нее была заветная застекленная полочка, где хранились сувениры, привезенные с Севера, и стояло несколько книг о Севере, о том народе, чья кровь, наполовину разбавленная иудейской кровью, текла в жилах Ады. Все это было так красиво, так стильно, такой чудесной могла бы быть жизнь, если бы не...

Ада ревновала, потому что мать умела привлекать к себе внимание дяди Лени, для этого ей стоило всего лишь напиться! С ума сойти, ведь раньше она уверяла, что пьет от беспросветной жизни, а теперь-то с чего? После первых инцидентов дядя Леня опустошил домашний бар, унес куда-то те бутылки, что уцелели после маминого набега, и больше не пополнял его. Но мать находила, что выпить. Деньги, выдаваемые ей на ведение хозяйства, на спиртное не тратила, это было табу, наложенное железным принципом – мол, пью на свои, чужого не беру. Она сняла деньги с книжки, справедливо рассудив, что теперь уж

найдется, на что отпраздновать свадьбу дочери. Два или три раза в месяц она, уже чувствуя обреченно, что ей не справиться с собой, шла в магазин и покупала выпивку... Клавдия, простая душа, никогда не могла скрыть опьянение, закрыться, например, в своей комнате, сказаться больной, ей требовалась публика, хотелось быть на людях, хотелось петь свои странные песни...

Но в конце импровизированной вечеринки у нее непременно схватывало сердце, и дядя Леня, вот чудак-то, неизменно бежал вызывать бригаду врачей, да не скорую помощь, а ту, что ездит за деньги к таким, как мать. Врач-нарколог ставил ей систему, колол витамины и еще какие-то лекарства, от которых лицо Клавдии расслаблялось, морщины разглаживались, она успокаивалась и засыпала. Всякий раз врач говорил дяде Лене, что больную надо бы понаблюдать, рекомендовал хорошую клинику... Однажды они отважились, но и клиника не принесла матери пользы.

Выписавшись, мать снова напилась, и снова все повторилось – гулянка, врач, система, клиника, выпивка. Ада ревновала дядю Леню к матери, слишком уж он беспокоится за эту алконавтку, слишком много денег на нее тратит! Да за те деньги, что он потратил на пребывание матери в клинике, можно было купить... Что угодно можно было купить! Дядя Леня ни в чем не отказывал племяннице, ничего для нее не жалел, но ей хотелось быть в центре его внимания. Она хорошо училась – светлая голова досталась в наследство от отца! – не болела, с ней не было никаких особенных проблем, и только ревность порой толкала ее на странные поступки, диктовала мысли, от которых щекотало в позвоночнике... Как будто она подошла к самому краю пропасти и заглядывает в нее...

Однажды Ада пришла из школы и обнаружила мать за любимым делом. Выхватила у нее недопитую бутылку коньяку, про себя отметив – ишь ты, перешла на напитки поблагороднее, раньше была рада простой горькой да адскому зелью бабы Насти! – и отправила спать, подгоняя кулаками. Мать как упала ничком на свой диван, так и отрубилась, почти уткнувшись лицом в подушку, неловко вывернув шею. С края перекошенного рта потянулась струйка слюны, и Ада брезгливо вздрогнула. Ей представилось вдруг так отчетливо, так ясно – вот она идет в свою комнату, берет с полочки нож, нож с птицами, нож, чья рукоятка вечно хранит тепло незримой руки...

Разве не было этого в обычае ее народа? Разве ее племя, о котором она уже прочитала так много книг, не избавлялось от немощных, от стариков и старух? Естественная смерть казалась им даже чем-то постыдным. Умершие от болезни полагались съеденными злым духом-*кэле*. Такие покойники не только не помогают сородичам, как это делают убитые или погибшие на охоте, но даже мучают своих домочадцев, причиняют им несчастья и болезни. Больные сами молят своих детей о последней милости – о смерти. Разве мать не причитает каждый раз, когда напьется: «Ох, мука мне, ох, когда ж я сдохну!»

И не будет всей этой суеты, вызовов врача, дорогостоящих каникул в клинике... И дядя Леня будет принадлежать ей одной, и Ада больше не будет чувствовать стыда за мать перед ним. Ада не видела, не могла видеть, как в эту минуту изменилось ее лицо, а если бы увидела, то испугалась. Это было лицо злой колдуньи, ведьмачки, шаманки, совершающей темный обряд, – губы стали ярче, глаза закатились, показав полоску голубоватого белка, под ними нарисовались синие тени...

Но тут мать всхрипнула, и морок отлетел от Ады, и бесшумно она вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь.

Не прошла даром ее маленькая ворожба с самой собой. Мать отправилась в клинику и чувствовала себя лучше, чем обычно, только жаловалась на скуку, на то, что в отдельной палате ей из-за тишины страшно засыпать по ночам. Попросила даже у Ады, чтобы та взяла в библиотеке для нее книжку, которую читала еще в юности. «Ярмарка тщеславия». Ада записала автора и название, но взять книгу не успела, потому что на следующее же утро из клиники позвонили. Мать, оказывается, умерла. Это случилось ночью, она не успела крикнуть, не успела позвать на помощь, и дежурная медсестра нашла ее только утром. Ада подслушала разговор между дядей Леней и сестрой, девушка говорила, что эта смерть

произвела на нее особенно тяжелое впечатление.

– Больная не жаловалась на сердце, только говорила про страх, на приступы паники, это может быть признаком заболевания, но мы считали – у нее алкогольный психоз, как и у многих здесь... Знаете, больная смотрела, широко раскрыв глаза, куда-то в угол, глаза ее почти вылезли из орбит, как от удушья. Но лицо казалось очень спокойным, будто она видела свою смерть, и смирилась с ней, и приняла ее, как благо...

Кто знает, быть может, даже неисполненные намерения имеют силу и в последние мгновения своей жизни Клавдия видела свою дочь – выходящую из темного угла, с лицом одержимой шаманки, с ритуальным ножом в руках?

Глава 11

В семнадцать лет Ада, как положено, влюбилась в негодея.

Вообще-то влюбляться в негодаев, когда тебе семнадцать лет, очень полезно. Это тонизирует, а также помогает оценить ненегодея, который прибудет позже, закаляет для дальнейших житейских трудностей. Но Ада не планировала в своей жизни никаких трудностей, и первая любовная неудача приняла в ее глазах масштабы национальной катастрофы. А ведь все так хорошо начиналось, они были такой красивой парой! Она – студентка психологического факультета, бодренькая, отточенная, глянцевая. Племянница состоятельного человека, приезжающая на занятия в гоночном автомобильчике своего любимого красного цвета. Он – чертовски обаятельный, феерически красивый, рост метр девяносто, бритый наголо, с золотым колечком в ухе. Строгость его костюмов смягчалась безумием дизайнерских сорочек. Михаил Панов сделал Аде предложение после трех месяцев знакомства и подарил колечко с аквамаринном («Это твой камень!»). Ада, влюбленная к тому моменту по уши, согласилась. Дядя Леня советовал подождать. Впрочем, он навел справки о Панове и, кажется, остался доволен будущим зятем, особенно тем обстоятельством, что племянница выбрала не бездельного тусовщика, не юнца с оловянными от кокаина глазами, но человека дельного, сметливого, самостоятельно достигшего какого-никакого успеха. Михаил торговал иллюзиями – даже не торговал, а давал их напрокат в формате VHS и DVD. Впрочем, сам он не любил распространяться о принадлежащей ему сети видеопроката, рассчитанно раскинутой по спальным районам мегаполиса, но зато знал толк в смешном и трагическом, любил обсудить хитрости Хичкока и странности Тарантино, ценил кровавый романтизм Ромеро и депрессивный комизм Коэнов. Мечтал и сам снять как-нибудь, на досуге, небольшой концептуальный киношедевр.

В начале весны Ада уехала с дядей Леней в Италию – у него там велись какие-то переговоры, что ли, Аде же хотелось пройтись по магазинам. Но дядя Леня обтяпал свои делишки быстрее, чем можно было предположить. Он предлагал Аде остаться в Милане одной, но ей уже надоел раскаленный зной узеньких улочек, она соскучилась по Михаилу и решила вернуться на неделю раньше, устроить жениху сюрприз. Ах, будь она чуть постарше, чуть поопытней, сообразила бы, что такие приятные неожиданности могут самой выйти боком, что свой приезд нужно анонсировать хотя бы за сутки, чтобы жених успел отоспаться, вымыть посуду и выбросить из пепельниц окурки с напыленным фильтром! Но она была еще очень юна и глупа, поэтому без предупреждения поднялась в холостяцкую квартиру Панова, которую тот не без шика именовал «студией», открыла дверь своим ключом... и застыла. Зрелище было то еще.

Широченная кровать, и без того занимавшая в «студии» центральное место, вознесенная на помост, была ярко освещена. На ней, на незнакомом Аде приторно-розовом покрывале, кувыркались две обнаженные нимфы, выворачивали друг друга наизнанку с профессиональным бесстыдством. Свидетелями распутных увеселений двух подружек были трое, если не считать остоленевшую Аду. Кто-то не в меру бородатый, по пояс голый, с лоснящимся торсом кентавра, держал в руках видеокамеру, упоенно снимая гнусное зрелище. Панов, как всегда облаченный в корректнейший костюм, сидел, развалившись, в

кресле и дирижировал всем происходящим. А у ног его примостилась еще одна почти голая нимфочка, копия тех двух, что на кровати. Нимфа производила руками какие-то действия, какие именно – Ада разбираться не стала. Она хлопнула дверью ненамеренно громко, и Панов догнал ее на выходе из подъезда.

Для начала Ада наградила проштрафившегося женишка двумя смачными плюхами, которые удачно легли на его довольно-таки упитанную физиономию, причем компания тинейджеров, угнездившаяся на скамейке неподалеку, смешливо ей поаплодировала.

– Штаны застегни... режис-сер! – приказала Ада Панову, и тот в смущении повиновался. И сразу же принялся оправдываться.

Что он нес, аж уши вяли! По его словам, выходило так, что все это какое-то дурацкое недоразумение, которое объясняется очень просто. Даже непонятно, отчего Ада так расстроилась. Он решил осуществить свою давнюю мечту, снять концептуальный шедевр «Секс и безумие в Южном Бутове», который оценил бы первый же фестиваль авторского кино. Панов чувствовал вину только за одно обстоятельство, а именно за действия третьей, не примкнувшей к киносъемке девицы... но полагал, что ему можно это извинить. Режиссеры, они все такие.

Очевидно, прокатчик видеокассет окончательно вошел в роль, почувствовал себя божественным персонажем и теперь говорил Аде о миссии художника, о нелегком пути к вдохновению, о новых формах в искусстве, заикнулся даже о музах, что издавна представлялись человечеству в образе прекрасных дев.

Это Аду доконало.

– Послушай, – сказала она возлюбленному мягко. – Я, может быть, чего-то не понимаю... Мне показалось, ты снимаешь обыкновенную... обыкновенную порнографию.

Михаил посмотрел на нее с сожалением.

– Ты никогда меня не понимала, – изрек он все тем же тоном божественного персонажа. – Может быть, ты еще слишком молода... Но откуда столько ханжества, милая?

Панов крутился, как Вилий на вилах. Ему хотелось и рыбку съесть, и удовольствие получить – то есть удержать при себе выгодную невесту, но при этом не поступиться мужским самолюбием. Ада посмотрела-посмотрела на него, да и села в автомобиль, и дверцей хлопнула.

Дядя Леня был дома – редкий случай. В его кабинете было темно из-за опущенных штор, мягко светился монитор. Дядя работал, фальшиво насвистывая популярную песенку. Свист прекратился.

– Ада, детка, это ты?

Она промолчала, и дядя Леня скоро появился в дверях собственной персоной. Борода всклокочена, на носу очки в толстой оправе, босиком и в домашнем джинсовом комбинезоне. В руке пакет молока. Они оба, дядя Леня и Ада, любили пить молоко из пакетов, ужасная привычка!

– Что-то случилось?

Ада прошла в кабинет, опустилась на приятно прохладный кожаный диванчик и рассказала дяде Лене всё. Все события сегодняшнего дня, такого накаленного и драматичного. На удивление, дядюшка оказался равнодушен к постигшей Аду утрате. Напротив, многое показалось ему смешным.

– Ну и хорошо, что вовремя его раскусила! – провозгласил он, словно тост, и отхлебнул молока из пакета. – Детка, к чему эта мировая скорбь? Ступай прими ванну, выпей чаю с медом, поспи часов десять – двенадцать, и все как рукой снимет! Как рукой снимет!

Да, здесь долго пришлось бы ждать сочувствия! Ада пошла к себе, переделалась в халат, набуровила в ванну горячей воды и добавила пены. Пена пахла шоколадом, и на душе у Ады вдруг повеселело. Повернула ключ в двери, сбросила на пол халат. Что-то звякнуло. Что там, в кармане?

В кармане оказался нож, когда-то украденный Адой из краеведческого музея родного города. Как он мог там очутиться? Но Ада допускала, что сама положила нож в карман. Эта

вещичка с годами не перестала ей нравиться. От ножа исходила сила, он был то холоден, то горяч на ощупь, прикосновение к гладкой рукоятке всегда успокаивало ее. Порой она клала его себе под подушку, иногда носила с собой в сумочке. И было приятно вспомнить, как лихо вынесла она его из музея – раритетный-то экспонат!

Она погрузилась в душистые сугробы пены, держа в руках нож.

И сразу же ей захотелось спать.

Дремота нахлынула тяжелой волной. Шум льющейся из крана воды показался Аде океанским прибоем. Далекий, он все ближе и ближе. Белым языком с клочьями налипшей пены слизывает с берега округлую гальку, тащит назад, за собой. И странно, и сладко подчиняться этому ритму, и не поднять ресниц.

Хныкнуло сливное отверстие, сглотнуло через силу, наконец, захлебнулось. Через край низко утопленной ванны вода шустро побежала на мраморный пол, через несколько минут достигла двери, просочилась в спальню. Светло-серый ковер снизу намок и понемногу темнел. Домработница Леночка, принеся в спальню Ады стопку свежeweыглаженного постельного белья, заметила темные пятна, присела на корточки, прислушалась к нарастающему, грозному шуму воды в ванной и заполошно заколотила в дверь:

– Ада! Ада, ты заснула?

Та не откликнулась, и Леночка перепугалась еще больше. Она видела – девочка вернулась домой сама не своя, о чем-то говорила с дядей, потом ушла к себе. Мало ли что могло случиться? Леонид Львович добрейшей души человек, но он все же мужчина, а Адочке нужен женский глаз, женская помощь... У себя на родине, до того как попасть под сокращение и податься на заработки в Москву, Лена служила в детской комнате милиции. Опыт, приобретенный ею там, здорово пригодился в общении с этой избалованной, изломанной, но в общем-то неплохой девчонкой. Может быть, благодаря этому она и удержалась здесь, на теплом местечке... И еще благодаря умению быстро принимать решения конечно же!

Лена призвала на помощь охранника Рому, прибежал и переполошившийся Леонид Львович. Он стал молотить кулаками в дверь, но тут подключился Рома, чуть поднажал плечом, и дверь слетела с петель. В ванной комнате воды было по щиколотку, а в глубокой ванне лежала девочка, вся увитая какими-то розовыми нитями... И Лена поняла, что розовые нити – это растворившаяся в воде кровь, что в правой руке Ада держит нож и что сейчас, пожалуй, самое время завизжать. Но визжать она не стала. Она приказала Роману вытащить Аду из ванны и положить на диван, прикрыла девочку махровым халатом и осмотрела порез на левом запястье – длинный, неглубокий. Девочка дышала едва слышно, но сердце ее билось ровно. Лена накала успокоительного Леониду Львовичу и вызвала домашнего врача.

Домашний врач примчался так быстро, словно стоял под окнами и ждал, когда Адочка решит наложить на себя руки, да немудрено – за такие-то деньги. Он привел девочку в чувство, обработал порез какой-то шипящей дрянью и забинтовал руку, не переставая балагурить. Впрочем, балагурство его имело целью обвиняками выяснить, что это было. Девичьи фокусы, попытка самоубийства или случайность, нелепое стечение обстоятельств? Ада была вся розовая и не выглядела ни больной, ни страдающей. Она уверяла, что просто решила по совету дяди принять ванну, нож взяла с собой, потому что это ее талисман, разморенная горячей водой, заснула... А во сне порезалась, невероятно, но бывает, что ж тут такого?

«Ремня бы тебе хорошего», – мысленно вынес безошибочный диагноз доктор, метнув взгляд на Леонида Львовича, который стоял перед диваном, словно фанатик перед алтарем. Вот на ком лица нет!

Успокоительные капли мало помогли Леониду Львовичу. Он был страшен в гневе. Он довел себя до такого состояния, что доктор начал опасаться за его здоровье. Подчиняясь требованиям эскулапа, Леонид Львович принял какие-то таблетки, запил их добрым глотком коньяка и принялся громить «обнаглевшего торгаша, обманувшего надежды юной девушки».

Откуда только у него в лексиконе нашлись такие слова? Прямо Тургенев! Впрочем, дядя Леня быстро перешел на привычный русский язык, деловито пообещав Панова убить сию секунду. От слов он перешел к делу – отправился в свой кабинет и принялся открывать сейф. В маленьком сейфе лежал пистолет, но так как дядя Леня оружия не любил и боялся, то код замка успел уже забыть.

– Ну что вы, Леонид Львович, зачем вам трудиться, давайте я сам съезжу, – вмешался Роман. – Убить не убить, а вот по репе настучать – это хорошо бы.

Ада забеспокоилась. Она и в самом деле не помнила, как резала себе запястье, в самом деле не имела намерения покончить с собой или даже сделать такой вид. Тем более ей не хотелось, чтобы об этом узнал Панов. Много чести, пусть остается с нетронутой «репой». И хитрая девчонка приняла собственные меры для успокоения дядюшки. Она уселась на диване, обняла белого плюшевого медведя и зашепелявила сюсюкающим голосочком ребенка:

– Дядя Леня, посиди с Адочкой... Адочка испугалась, Адочке холодно...

Он метнулся к ней, обхватил острые плечики, прижал к себе. Бедная, глупая девочка, как стучит сердце, как бухает в виски!

– Зачем ты, ну зачем, – упрекал он ласково. – Ты хотела оставить меня? Бросить меня?

– Нет, дядя Леня, нет...

– Ведь ты и без того когда-нибудь уйдешь от меня. Это участь всех отцов, а я, детка, давно привык считать тебя своей дочерью. Ты выйдешь замуж и забудешь про своего старого дядьку...

– Ни за что!

Ада высвободилась из кольца ласково обнимавших ее рук.

– Дядь Лень, я правда не хочу выходить замуж. Мы всегда будем вместе, да? Будем повсюду ездить, обо всем разговаривать... А ты?

– Что – я?

– А вдруг ты женишься?

– Ну что ты. – Дядя Леня рассмеялся с облегчением. Он подумал, что Адочка, несмотря на все испытания, выпавшие ей в детстве, все еще удивительно инфантильна, и это к лучшему, пусть остается подольше ребенком. – Я не женюсь.

– Никогда-никогда? – по-детски всхлипнула Ада. – Честное слово? Никогда-никогда за сто миллионов лет?

– Честное-пречестное. Никогда-никогда. За сто миллионов лет.

В следующие семь-восемь лет Ада окончила институт; научилась кататься на горных лыжах; попробовала кокаин; полюбила альпиниста Игоря; чуть не погибла, прыгая с парашютом; проколола пупок, язык и еще кое-что; понаторела в дайвинге; прожила лето в Амстердаме; полюбила драг-дилера Сирила; участвовала в гонке собачьих упряжек у себя на родине; побрилась наголо; подхватила диковинную тропическую болезнь; воспылала страстью к абсенту; полюбила поэта Марика; написала очень плохой роман, ставший на короткое время бестселлером; съездила в Тибет; сделала шесть татуировок; полюбила индийского актера, который научил ее танцевать и поклоняться богине Кали; вместе с ним, на его же яхте, попала в плен к самым настоящим морским пиратам и научила их ругаться по-русски и играть в подкидного дурака на раздевание.

Потом она полюбила внезапно возникшего из небытия Панова и поехала с ним в Кейптаун, где и оставила на четвертый день – без денег и документов. Свой бумажник несчастный Панов отыскал в конце концов в фонтане, а паспорт – в сливном бачке. Вероятно подсознательно, Ада выбрала для тайников места, так или иначе связанные с водой – не прошла ей даром та ванна, что приняла она однажды с ножом в руках.

Наконец все это ей самой надоело, она вернулась в Москву и осела в своих апартаментах на Старом Арбате.

Дядя Леня был рад, так рад, что на день рождения сделал ей подарок со значением – маленький глянцевый журнальчик. Он был рад, что блудная племянница решила наконец

заняться делом, рад, что будет видеть ее чаще, чем раз в год. В своей эгоистической радости он не замечал, что вместе с благоразумием к Аде пришло пресыщение, а этот гость не способствует успеху какого бы то ни было дела. Свое глянцево-детское Ада пустила в свободное плавание, решив, что команда профессионалов и своевременные вливания из дядюшкиного кармана помогут дорогой игрушке держаться на плаву. Журнал сначала был гламурный и назывался «Блеск», а потом, ввиду модных тенденций, стал антигламурным, и Ада придумала потрясающее новое название. «Моск»! Знай наших!

Но холодок разочарования начал потихоньку заполнять ее душу, горящую раньше так жарко, так весело фонтанировавшую искрами, с этим холодом надо было бороться, ведь он способен на все, даже прочертить острой лезвием преждевременные морщины!

И в этот момент ей подвернулся Сережа Акатов, мальчик с шоколадными глазами, мальчик, чье дыхание пахло молоком, а тело было похоже на тело молодой пантеры, убитой Адой когда-то давно, во время сафари, в волшебной Африке.

Он был таким новым, юным, свежим и... таким управляемым. Он был как кусок податливого пластика, из него можно было слепить что угодно, а потом, когда надоест, смять в бесформенный разноцветный ком, бросить в угол и уйти. Заняться своими делами.

• • •

Учиться оказалось тяжело, гораздо тяжелее, чем Сергей предполагал. Он думал, что готов к тяготам выбранной профессии, он вообще был готов ко многим испытаниям после многочасовых занятий в пыльном танцклассе, в сумерках, когда ныли все мышцы, даже те, о которых обычно люди не подозревают. Когда едкий пот заливал глаза и ноги скользили по истершемуся паркету, когда – так мучительно! – не получалось, не выходило, не вытанцовывалось. И вдруг, словно прорывало плотину, все начинало получаться, и движения становились верными и прекрасными, и унылое лицо партнерши вспыхивало очарованием.

Но тут до прорыва плотины было далеко. Что-то давалось ему лучше, что-то хуже, он был первым по танцу, лучше всех двигался, отличался на занятиях по сценической речи. Но каким мучением, и мучением бесполезным, казались ему уроки актерского мастерства, как непонятны были звучащие из надменных уст Рожницына слова: «предлагаемые обстоятельства», «эмоциональная память, видения внутреннего зрения»... Эти слова никак не касались того, о чем мечталось ему, Сереже, – всеобщего восхищения и поклонения.

...Его больно ранило отношение Рожницына, у которого сразу же появился на курсе любимчик – некрасивый, высоколобый, тщедушный Сашка Затван. А на него, Акатова, Юрий Григорьевич покрикивал и на занятиях объяснял, глядя поверх его головы, словно обращаясь не к нему:

– Если ты внутренне не чувствуешь роли – ты преподносишь зрителю внешние эффекты, показываешь голос, дикцию, технику речи, животный темперамент, в конце концов! Не увлекайся актерским кликушеством, переживи свою роль в душе и создай жизнь роли на сцене!

Во всей этой белиберде не было ни одного понятного слова. Но весь небольшой жизненный опыт подсказывал – надо соглашаться, надо кивать со вдумчивым видом. Потом все как-нибудь наладится.

В сущности, это единственное, что портило Сереже жизнь, во всем остальном он был совершенно счастлив. Через пару месяцев после начала занятий у него на факультете появился приятель, он учился на курс старше и уже был женат на однокурснице. Влад был чудаковатым парнем, имел какие-то свои, непонятные остальным шуточки, а его жена Оля словно спала с открытыми глазами. Она просыпалась только на сцене, так сказал про нее Влад. Впрочем, именно Ольге принадлежала инициатива после поздней репетиции «сходить куда-нибудь вкусно покушать и потусить».

В помещении модного клуба со странным названием «Бабушка Бонифация» было темно, играла незнакомая музыка, под потолком плавали слои сизого дыма, сновали

чернокожие официанты. Оля, которая собиралась вкусно покушать, заказала омлет со шпинатом, Влад – рюмку джина Сережа, сообразившись со скудной наличностью и запредельными ценами в меню, – томатный сок. Он уже жалел, что согласился поехать, на душе было смутно, словно томило ее какое-то предчувствие. И тут он обернулся и увидел Аду. Она сидела за соседним столиком в компании томного юнца с необыкновенным загаром. Саму же Аду Сергей некоторое время не мог разглядеть, словно очень яркий свет слепил ему глаза. Она была тонкая и легкая, но налитая внутренней силой, как виноградная лоза, попробуй ее сломай. Черные волосы экстремально коротко острижены и блестят, как норковый мех, а лицо ее неуловимо, мучительно, гибельно красиво.

Что мерцает там, в глубинах этих раскосых глаз? Восходящее солнце Японии? Китай? Или страна сгинувшая? Или страна неоткрытая пока, таинственные берега, ждущие своего Колумба?

А потом он понял, что рука девушки лежит на его плече, что он обнимает ее талию и они танцуют что-то невообразимое под странную музыку, состоящую из цокота, стука и шепотов. У нее странно горячая и сухая кожа.

– Как тебя зовут? – спрашивает он и отстраняется, чтобы снова увидеть ее. Оказывается, на ней какое-то мягкое красно-желтое платье, некрасивое, но идущее ей так, что в ту же секунду Сергей забывает, как именно она одета.

– Ада, – отвечает она. Голос у нее хриловатый, звучный. – Выпей со мной текилы, цветочек.

В ее непроглядно-темных глазах вспыхивают искры. Через некоторое время он уже сидит за столиком, и загорелый юнец учит его пить текилу, которая кажется Сереже омерзительной. А потом мир вокруг начал вертеться огненными кольцами, и Сергей чувствовал только ее горячую ладонь на своем плече, пальцы с коротко обрезанными ногтями щекотят ему шею, и в то же время ощущается самостоятельная, не относящаяся к девушке вибрация в области сердца. Что это? Ах да, это мобильник в нагрудном кармане куртки. Встревоженный голос тетки:

– Сергей, у тебя все в порядке? Уже одиннадцатый час, ты в курсе? Когда задерживаешься или не приходишь ночевать – лучше предупреждать, мы же договаривались. Не хочу на тебя давить, но мать звонила из Верхневолжска четыре раза, я совсем завралась, и тебе лучше вернуться домой, пока она окончательно с ума не сошла.

Тетка, как всегда, была права. Сережа сделал над собой усилие и встал. Он думал: вот сейчас я уйду и больше никогда ее не увижу, если бы мне сейчас сказали, что я никогда не увижу солнца, я бы испугался чуть меньше. Я ее потерял. Но Ада переспросила его, словно продолжая разговор (неужели он велся?):

– Так у тебя во сколько кончаются занятия? В семь?

– В семь, – выдавил Сережа, и она кивнула. Этот лаконичный жест сказал ему больше, чем слова, и он нашел в себе силы, чтобы уйти.

Нина Алексеевна встретила его насмешливо-поощряющей ухмылкой, но не успел он перешагнуть порога, как встревоженно заголосил телефон. Это была мать, и Сергей с удивлением слушал ее голос – успел забыть, как он звучит.

– Знаешь, – сказал он ей вдруг, прижимая трубку плечом к уху, – знаешь, мам, я сегодня познакомился с такой девушкой...

– Она москвичка? – спросила мать, быстро, как только она умела, изменив течение своих мыслей.

– Москвичка, – успокоил ее Сергей, припомнив какие-то обрывки сегодняшних разговоров.

– Ну, дай бог, – ответила мать и, неизвестно отчего, заплакала, некрасиво взрыдывая.

Следующий день был ярким и коротким, как солнечный протуберанец. Сережа удостоился даже двусмысленной похвалы от Рожницына:

– Ты сегодня, Акатов, прямо-таки на себя не похож! Старайся дальше!

На классическом танце, который в расписании стоял последним, Сережа сбавал такое

страстное и одновременно томное танго, что потряс даже выдавшего виды препода Эрика, в знак поощрения тот погладил его по спине. У Эрика было два прозвища: одно – Голубчик, а второе – непечатное. Однокурсница Катя, большеглазая, недоступная барышня, с которой танго и танцевалось, также была поражена и намекнула Сереже, что согласилась бы с ним куда-нибудь сходить, а там посмотрим. В иное время ему было бы лестно «сходить куда-нибудь» с первой красавицей и недотрогой курса, но сегодня он себя берег, он нес себя, как на подносе, к дверям корпуса и почти не удивился, увидев огромный, угрожающе-угловатый автомобиль и возле него Аду – у нее в пальцах была коричневая сигарка, и она курила, картинно выпуская кольца дыма... На нее оборачивались прохожие. Она смотрела не прямо на Сережу, но куда-то мимо него, словно и не замечая, и это неприятно напомнило ему о Рожнице.

– Садись.

И сама прострекотала каблуками, села на водительское место. Сережа долго не мог открыть дверцу, залился краской, мысленно проклиная свою неопытность и неловкость. Наконец Ада открыла ему изнутри и повторила, как приказ:

– Садись. Поедем в мою скромную обитель.

«Скромная обитель» Ады оказалась студией, громадной и нелепой, – стеклянная стена вместо окна, угрожающе низкие балки потолочных перекрытий, с потолка свисает гамак, в одном углу барная стойка, за которой хозяйка сейчас смешивает коктейли, в другом – мольберт, окруженный скорченными в муке тюбиками краски, повсюду экзотический хлам, из сваленных на полу тряпок скалит острые зубки крошечная голая собачонка.

– А где ты спишь? – задает непреднамеренно двусмысленный вопрос Сергей, оглядываясь. Таких домов ему еще не приходилось видеть, все кажется ему удивительным и занятым, но вот можно ли тут жить?

– В гамаке, – отвечает ему Ада. – Я сплю в гамаке. Кровати у меня нет и телевизора тоже нет. Впрочем, кровать я могу купить. Специал фо ю. Хризантема, иди ко мне, моя сладенькая! Вот тебе молочка. А тебе, цветочек, коктейль.

– Спасибо, я... – бормочет Сережа, принимая из ее рук разлтый бокал с чем-то мутно-оранжевым. – А что тут?

– Морковный сок, – хохочет Ада.

Коктейль крепкий, как ее объятия.

Около десяти часов Сережа звонил тетке и врал, что останется ночевать в актерском общежитии, что здесь собрался весь курс, что отмечают чей-то день рождения... На самом деле он стоял, совершенно обнаженный, в чужой ванной комнате, пропахшей многочисленными ароматами, и через плечо рассматривал в зеркале багровые полосы у себя на коже. Откуда они взялись? Ах, это ковер. Длинный ворс невиданного, оранжево-черного ковра растер ему спину до крови. Сережа только что пытался принять душ. Из щегольского граммофонного раструба вода лилась отчего-то только обжигающе-горячая, но все равно она была на несколько градусов холоднее, чем губы Ады, тело Ады, требовательные глаза Ады.

– Что у тебя с голосом? – спросила его Нина Алексеевна.

– Ничего, – ответил он, чувствуя себя одним из выжатых тюбиков краски.

Нина отпустила пару дежурных шуточек и дозволила ему «удалиться в загул», как она выразилась. Она взялась присматривать за племянником, но не желала стеснять его свободу. Студенческие годы, знаем, знаем, сама жила в общежитии! Поди-ка, и девчонка уже есть, ждет, бедняжка... Первое трепетное чувство, ах!

– Цветочек, ты скоро там? – ласково окликнула его Ада.

В дверную щель он взглянул на нее. Она стояла, утопая по шиколотку в своем чудном оранжево-черном ковре, обнаженная, и пила молоко прямо из пакета. Мутная белая капля сорвалась и потекла по ее подбородку, побежала по смуглой шее, между острых грудей, к впалому животу, к таинственной воронке пупка.

– Почему ты называешь меня цветочком?

– Я люблю цветочки, – ответила Ада, словно на что-то намекая, и эти слова, которые в

любых других устах казались бы банальными и слащавыми, прозвучали как высшая и непостижимая истина. А единственный смысл непостижимой истины как раз и есть в ее непостижимости, так как доказывает: человек не может и не должен постигать все на свете, есть многое на свете, друг Горацио... и так далее.

Глава 12

Леонид Шортман ловил себя на том, что ведет странную и самому себе малопонятную жизнь. Дни укладывались ловко – совершенно одинаковые дни, заполненные делами и хлопотами, которые, впрочем, все чаще приходилось себе придумывать. Хорошо налаженное дело уже работало само по себе, вращались незримые лопасти, накапливался по капле капитал... Но это уже не радовало, порой он ощущал странное безразличие и к своему, великой ценой приобретенному детищу, и даже к деньгам, к тем возможностям, которые они давали. В сущности, он был очень одинок, и одиночество казалось ему ледяной глыбой, в которой он был запаян, как доисторическая муха в янтаре, и особенно он чувствовал это по ночам – непробиваемую толщу льда между собой и остальным миром.

«Кто бы мог подумать, – усмехался Шортман про себя. – Кому бы рассказать – не поверили бы. Посмеялись. Я одинок! Дурацкий анекдот».

Самому ему было совсем не смешно. Он искал выходы из одиночества и не находил. Единственный близкий человек, любимая племянница, бывшая ему вместо дочери, отдалилась от него, стала чужой и непостижимой, и все труднее было разобраться в ее жизни. Тем более что она, как и он когда-то, ценила только деньги, только ту свободу, какую они могли дать, но ведь никакие заблуждения не кажутся нам более непостижимыми, чем собственные прежние заблуждения.

«Хотя бы старость поскорее, – думал он, бродя по комнатам своего обширного дома. – Не будет лезть в голову всякая ерунда. Начнется повышенное давление, склероз, геморрой, будет не до глупостей».

Часы показывали три пополуночи. Самое тяжелое время, когда до утра еще далеко, когда в неспящем человеке иссякает надежда вновь увидеть рассвет. «И умру-то я, наверно, в три часа ночи», – подумал Шортман. Он знал, что, будь сейчас с ним рядом, в его постели, живой человек, женщина, он не маялся бы тоской, он спокойно спал бы, обхватив ее рукой, а она, быть может, закинула бы на него горячую, блаженно-тяжелую ногу.

Конечно, люди как-то устраиваются. Вон их сколько, они ходят по улицам, постукивая каблучками, виляя аккуратными задиками – веселые и серьезные, бойкие и скромные, блондинки и брюнетки. Было время, он коллекционировал их, как забавные безделушки, и сейчас мужская память его раскидывала по ночам незатейливый фотоколлаж – очи и уста, перси и ланиты, стройные бедра одной, голливудская улыбка другой... Пестрое, но неаппетитное месиво, яркий винегрет, который к утру неизменно подкисал и начинал откровенно припахивать корыстью.

Были и другие – лелеявшие поддельную молодость, с умными глазами, с рассчитанными жестами, самки из жестокого прайда светских львов. Но эти казались ему еще страшнее, чем первые, акула всегда страшнее щучки хотя бы потому, что больше.

Кстати, о щуках. Не махнуть ли ему на Волгу, на осенний щучий клев? В конце сентября, погожими утрами, волжские заливы превращаются в зеркала, отражающие синее небо. Хорошо бывает плыть по синему небу, заглушив мотор и взявшись за неторопливые весла. Их красные лопасти привычно отталкиваются от плотной, по-осеннему густой воды, закручивают тонкие водоворотики. Иногда под весло попадает березовый лист и, опираясь на воду, удивленно идет ко дну. Тихо... Слышно даже, как потрескивает пожелтевший камыш на мелководе. Но вот гладь воды справа по борту словно бы приподнимается в одном месте, в другом, и следом же разлетаются в разные стороны серебряные брызги стремительной рыбьей мелочи. Щука! Нет, она не показывается на белый свет, как ее сородичи по хищному разбою окуни, не удостаивает тебя такой милости. Лишь ее грозная

пятнистая тень может быть замечена опытным рыбацким глазом.

Леонид обожал спиннинг и очень ценил верную щучью хватку. Его блесны, сияющие, ловкие, дорогие, всегда ценились в маленьком рыбацком братстве, где всегда находился тот, кто расскажет за рыбацкой ухой о невероятной по размеру и силе щуке, которая была столь велика и стара, что плавники ее поросли водным мхом, а глаза смотрели по-человечьи... Так вот, для Леонида наслаждение составляла даже сама подготовка к рыбалке, к щучьей охоте. И одни только названия самых лакомых и, разумеется, дорогих щучьих приманок ласкали его слух: воблер, вертушка, твистер...

Сейчас он вспоминал, как в прошлом году, в одно удивительное утро, улыбнувшееся сквозь легкий туманец, ему довелось потягаться силами с настоящим пресноводным крокодилом и потерпеть ошеломительный крах. Руки дрожали, сердце колотилось, обрывок перекушенного зубами-бритвами поводка развевался на ветерке... Но зато сколько потом было разговоров, сколько сочувствующих, сколько понимающих!.. Даже старик сторож Тихон, доглядывающий лодочное хозяйство, будто бы хвалясь и чувствуя, видно, необъяснимую гордость, заметил, что «щуки здесь и ребенка проглотить могут!».

– Ничего-о, я тебя в этом году достану, – пообещал Леонид упущенной добыче, вспомнив с азартной дрожью ее серую, муаровую спину и плоскую змеиную башку, вспомнив ее стойкость и силу.

Он решил поехать на Волгу, и сразу же заснул, успокоенный этим решением, и проспал до утра крепким сном ребенка, того самого «ребенка», которого и щука теперь могла бы сглотнуть, а он бы и не почуял.

Это решение помогло ему в ставшей вдруг трудной, начинавшей опостылевать жизни – утром город показался совсем другим, чем виделся из окна автомобиля. В нем было место для одинокого человека. Оказалось, что можно сидеть в бистро и пить дрянной кофе из пластиковой кружечки. Гулять по скверикам, кормить птиц, улыбаться чужим собакам и детям. И рассматривать девушек – простых московских девушек, этаких незабудочек в потертых джинсиках... И глазеть на витрины – магазин «Охота и рыбалка» выставил вдруг бамбуковые удочки, чудесные бамбуковые удочки с медными патронами, жарко горящими на осеннем солнышке.

– Сто лет не видел бамбуковых удочек. Рома, останови, пожалуйста.

– Нужны они вам, – фамильярно хмыкнул Роман, но припарковал машину.

Шортман не стал ему отвечать – Роме не понять, зачем хозяину такое старье, если он выписывает снасти по каталогу, все самое лучшее, самое дорогое. Роме не понять, ведь это не он ловил прямо с набережной белую рыбешку, это не с ним рядом смеялась и взвизгивала прекрасная девушка – у нее клюет, это ж надо! И бамбуковое удище качалось над ее кудрявой головкой, и солнце играло на ее завитках, на медных колечках удочки. Нет, он не мог отказать себе в удовольствии купить эту удочку, хотя бы просто поддержать ее в руках!

А когда вышел из магазина, под неспешный грибной дождь, нетерпеливо срывая скользкий на ощупь пластик с медово светящейся удочки, столкнулся с женщиной под оранжевым зонтиком, чуть с ног ее не сбил, отпрянул, извинился и пошел себе дальше, но его нагнал тихий голос:

– Леня, ты?

Он обернулся. И даже засмеялся в первую минуту, не в силах вынести радостного бремени этой встречи, и все вокруг обернулось и засмеялось вместе с ним – солнце, ветер, птицы, чужие дети, бродячие собаки, и дряхлый, но аккуратно одетый старик, пивший в бистро кофе из пластиковой кружечки, тоже засмеялся розовыми деснами, ситцевыми глазами одинокого человека.

Нина, Нина Лазарева! Незабытая, незабываемая, неизменившаяся, неизменившая! На ее пальце нет кольца, молодо смеются глаза, в коротких кудрях запутались золотые искорки.

– Ты... Ты как здесь?

– Я живу здесь, Леня. Уже давно.

– И я.

– Я знаю.
– Откуда?
– Ты же у нас фигура известная.
– А-а, да, конечно. Но почему ты меня раньше не нашла?
– Как ты себе это представляешь? – насмешливо осведомилась Нина, и он снова почувствовал себя мальчишкой, долговязым и неловким рядом с ней.
– Ты не торопишься? То есть, я хотел сказать, ты не могла бы со мной пообедать?
– Дай подумать. – Она задумалась, покусывая нижнюю губу, и через секунду откликнулась: – Все, подумала. Пообедать можно.
– А поужинать? – спросил он так жалобно, что она засмеялась.
– Там посмотрим.

На что она собиралась смотреть, он так и не понял. Но они провели вместе целый день, а вечером она, извинившись, уединилась и долго звонила кому-то по телефону и посмеивалась, как девчонка, а он ревниво спросил, когда она вернулась:

– С кем это ты?
– У меня племянник живет. Анечкин сын. Пришлось предупредить его, что тетка тоже в ночное ушла.

Почему «тоже»?

– Потому что он последнее время не любит ночевать дома. Встретил девушку, и, знаешь...

Нина еще что-то говорила, но он не слушал, только смотрел, как движутся ее яркие без помады губы, а потом он не выдержал, и схватил ее как-то очень неловко, под мышки, и потащил на себя, к себе на грудь, где ей было, по его разумению, самое место! Она не оттолкнула его, она ждала этого и незаметно помогала ему, и все было так ясно, так просто, как только и должно быть.

А потом они спали вместе, в одной постели, и за окнами гудел поднявшийся к ночи ветер, и Нина закидывала на него горячую, гладкую ногу, а он не выпускал ее из объятий – стерег ее сон, да к тому же боялся захрапеть, но не выдержал и заснул, думая, что прошлая ночь и нынешняя отличаются друг от друга, как ад и рай, а последующие ночи могут быть еще лучше!

Для него было ясно, что эта встреча должна изменить их жизнь – ведь недаром они оба свободны, недаром за все прошедшие годы так и не нашли себе пары! Но Нина, может быть, думала иначе? Недаром утром она так бесстрастно собиралась, так отстраненно пила кофе и улыбалась вежливо. Вежливо – и только. Шортману не могло прийти в голову, что Нина просто чувствует себя неловко в его хорамах на правах одноразовой подружки, что ей нестерпимо хочется уйти и что брюки у нее оказались непоправимо забрызганы сзади, и на носочке, на большом пальце, сияет невесть откуда взявшаяся дырочка, еще вчера ее не было!

– Я не храпел ночью? – решил все же он.

– А я? – спросила она, и Леонид снова удивился тому, что жил без нее все эти годы.

Все же Леонид почувствовал ее беспокойство и раздражительность, заметные сквозь изысканную насмешливость, и отпустил ее душеньку на покаяние, передав на руки Роме. Роме поручалось довести Нину Алексеевну, куда она скажет, а Шортман тем временем решил приняться за дела. Поездка на Волгу, разумеется, отменялась. Он твердо решил бороться за Нину, но, убей бог, не знал, как это делается. Забыл. А может, и не умел никогда? И, покумекав, решил он сделать Нине подарок – хороший подарок. Таким образом, соображал он, она сразу поймет серьезность его намерений. Так люди делают, он видел.

Снова шел дождь, и капли бриллиантов на витрине ювелирного магазина казались каплями дождя, а улыбки продавщиц – бриллиантами. Леонид присмотрел пару вещей, каждая из которых казалась ему достойной Нины. Жаль только, что вкус у Шортмана был своеобразный... Кольцо, выбранное им, было похоже на разноцветную мозоль, да и к браслету у ценителей прекрасного нашлись бы претензии. Надо отдать Леониду должное, он сам чувствовал это, потому и отвернулся от совсем уж ослепительных улыбок и стал звонить

единственному консультанту, вкусу которого он доверял, – племяннице Адочке.

– Ты где? А-а, ясно. Сейчас подъеду.

И она подъехала быстрее, чем можно было ожидать, – за заплаканной витриной мелькнул ее черный блестящий плащик и бледное лицо.

– Ну и что тебя смущает? С чего ты вдруг решил воспользоваться моей консультацией? Раньше справлялся сам. Новый вариант?

Так они с давних пор именовали краткие увлечения Леонида.

– Совершенно особый вариант, – смущаясь, поведал Шортман. – И особая женщина.

– Да-а? – Ада вздернула бровь. – Тогда, может, ты бы дал ей выбрать самой?

– Не тот случай.

– Хорошо, приступим. Она блондинка, брюнетка?

– Не то и не то. Скорее такая... Светло-каштановая.

– Ага, шатенка. Поехали. Ты кольцо хотел? А размер знаешь? Вот то-то.

О, она знала и любила драгоценности! Жемчуг в ее гибких пальцах обретал первозданное сияние, словно оказывался вдруг в родной стихии, холодные камни наливались вдруг живым блеском, золото и платина горели, как расплавленные.

– Вот, взгляни.

Это был браслет из цветного золота: мягко переплетались полосы сочного оранжевого, бархатистого коричневого, глубокого фиолетового цветов.

– Красиво.

– Еще бы. Плати, и пойдем. Кажется, я заслужила кофе. Высокая шапка взбитых сливок медленно оседала, Ада с преувеличенным вниманием трогала ее ложечкой. Разговор не клеился. Шортман чувствовал себя неловко и уже проклинал эту затею – позвать племянницу помочь ему. Закралась в голову мысль, что девочке тоже нужно было подарить какую-нибудь безделушку.

– М-м-да, – невнятно промычал Леонид. – Как дела в твоём журнале, детка? Видел, кажется, в киоске свеженькую обложку. Хорошо смотрится.

– Отвратительно! – фыркнула прямо в сливки Ада. – Мой ответсек – дура! Она все делает не так, как надо.

– Уволь эту, возьми другую, – ляпнул не подумав Шортман.

– Только мне и дела! – дернула плечами Ада. – Так что, у тебя новая девочка? И как она? Хороша?

– Гмм, это не вполне девочка. Видишь ли, она моя ровесница.

– Ну? – Ада чуть не поперхнулась кофе. Откровенно говоря, она не знала, сколько дяде Лене лет. Но он старый, это точно. У него седина, и морщины, и вообще. – Ну, я рада за тебя. Тебе, наверное, с ней интересно.

– Я тебе не рассказывал этой истории. Видишь ли, мы... Ада слушала, полуприкрыв горящими веками горящие глаза.

Дело плохо.

Дело так плохо, как и представить было нельзя.

Вот уж пришла беда, откуда не ждали!

А ведь ей сразу не понравилось лицо дяди Лени. В нём появилось что-то новое, глупо-радостное. Он сегодня походил на большого нескладного щенка, у которого уши и лапы выросли раньше, чем он сам, который силится казаться взрослой и благонамеренной собакой, но, только покажи ему мячик или свистни, растеряет всю свою солидность, запрыгает, захлебнется счастливым лаем.

– Пойду я, пожалуй. – Она резко отодвинула чашку и встала. – Извини. Всего хорошего.

Шортман и рта раскрыть не успел, как племянница унеслась, оставив ему только запах каких-то сложных духов и недоумение. Какая муха укусила эту несусветную девчонку? Неужели она ревнует? Похоже. Что ж, Адочка всегда была импульсивна – вспомнить только, как она пыталась покончить с собой после измены жениха, такого лысого... как уж его там

звали! Вот, сейчас и имени уж не припомнить, а сколько тогда было пережито! Ада клялась, что никогда не выйдет замуж, и с дядюшки взяла обещание не жениться. Интересно, она сама это помнит? Расчувствовавшись, он набрал Адочкин номер.

– Ну что еще? – сухо отозвалась любимая племянница. – Не надо ли шубу твоей гёрлфренд выбрать? Или автомобиль?

– С этим погодим, – неуклюже пошутил Шортман. – Слушай, а помнишь, как ты вены резала из-за этого своего видеопрокатчика, а потом взяла с меня клятву никогда не жениться?

– Ну, во-первых, я не резала...

– Хорошо-хорошо, не резала...

– Во-вторых, к чему ты об этом заговорил?

– Я, может быть, женюсь.

– Представь себе, я догадалась, – ответила Ада. – Извини, не могу больше разговаривать. Созвонимся позже, ладно?

Как ни странно, ей стало легче. Главное, что дядя Леня помнит о своей пусть в шутку данной клятве – никогда не жениться. Главное, что он испытывает чувство вины и по-прежнему нежно привязан к ней, к Аде, а это значит, что она не будет забыта даже после того, как он исполнит свои матримониальные замыслы. К тому же хорошо, что его избранница ему ровесница, меньше шансов, что она разродится целым выводком будущих Шортманов, меньше шансов, что наследство придется делить между десятком алчных конкурентов.

Стоп. Ада помотала головой, словно пытаясь выбросить из нее неприятную ей самой мысль. Что зря мучиться? Может быть, он еще и не женится.

Ада ехала на работу, в редакцию журнала «Моск».

Нужно было дать взбучку ответственному секретарю – той самой дурище, на которую она только что пожаловалась дяде Лене, но не получила ни малейшего сочувствия. Он посоветовал «взять другую». Не самое лучшее предложение, если учесть, что нынешняя исполняла фактически обязанности редактора, была изумительно работоспособна, почти безотказна, не требовала беспрестанно повышения оклада, обладала чутьем на все новое, интересное, и...

И еще она раздражала Аду. Необыкновенно раздражала.

Пожалуй, Ада завидовала ей.

Дурища обладала, помимо перечисленных достоинств, способностью радоваться жизни и удивляться ей. И она умела смеяться, о, как она умела смеяться, а ведь Ада так мало слышала вокруг себя смеха! Подхалимское хихиканье, непристойное гоготанье, циничное хмыканье, тупой ржач. Но дурища смеялась, как смеются дети, залиvisto и открыто, она даже голову запрокидывала, показывая далекие от идеала зубы, от смеха у дурищи подгибались колени, и ей приходилось садиться, если она вдруг на тот момент стояла. Так могут смеяться только люди беспечные и открытые. Так когда-то смеялась мать. Она могла найти радость в чем угодно – в хорошей погоде, в пришедшейся к месту шутке, в тишке, прочитанном ее дочерью на утреннике в детском саду. До того, как жизнь затюкала ее, перемолола в своей мясорубке, сделала тоску состоянием ее души... И как смеет дурища смеяться так, как смеет она радоваться всяким глупостям и никому не завидовать, даже Аде, и никого не бояться, даже Аду? Что она может, что она видела?

Вот прошлой весной, например. Дурища выпросила себе отпуск и поехала, куда бы вы думали? В захолустный городок Кашин! Вернулась и с восторгом делилась впечатлениями, говорила о доморощенном уюте деревянной двухэтажной гостиницы, в которой по ночам таинственно поскрипывают половицы, а персонал распивает за стойкой чай из ведерного самовара и приглашает постояльцев на чашечку. Рассказывала о главной и единственной улице города, асфальт которой давно потрескался и пророс лопухом, о рябом козле, вольнодумно привязанном у здания кашинской управы, о резных наличниках, жестяных петухах-флюгерах, о беленьких церквушках... И вся редакция слушала ее, аж рты

пораскрывали! А когда Ада попыталась рассказать, как участвовала в сафари и ездила на нартах, ее слушали только из вежливости, а одна тетеха даже высказалась в том смысле, что ей, мол, жалко львов и ездовых собачек тоже жалко! Скажите пожалуйста, собачек! Да что ж в ней такое есть, в этой дурище, чего нет в Аде?

– Это что такое? – Она хлопнула об стол свеженьким, пахучим журналом.

– Где, Ада Константиновна?

– Да вот, вот! На обложке!

Два дня назад дурища позвонила Аде и спросила, чью фотографию помещать на обложку. Кандидатур было две. Американка Лори Андерсон, музыкант и художник, вздумавшая привезти свое шоу Homeland в Москву.

– Что за шоу-то? – поинтересовалась Ада.

– В двух словах не сказать.

– А вы попробуйте.

– Ну, скажем, это попытка описать жизнь в современном техногенном обществе, обществе потребления. Где все вокруг превращается в бизнес. Где все стоит денег, и человек тоже. Где никто не может радоваться, если ничего не покупает, и ценится только то, что стоит дорого...

– Все ясно, – перебила ее Ада, смутно ощущая в словах дурищи какой-то намек или посыл, как нынче говорят, мессидж, но предпочитая в это не углубляться. – Давайте намба ту.

Номер два был наш парень, Гарри Грищенко, модный и скандальный художник, настоящий перформансер. Гарри наклеивал на фотографии знаменитостей дохлых крыс, окурки, шприцы и прочую непотребную дрянь, даже презервативы, которые выглядели использованными, а может, таковыми и являлись? Грищенко называл это новым искусством, знаменитости обижались, выставки Гарри закрывались, на него подавали в суд – жуть как скандально! А скандал теперь в моде. У Ады другого мнения быть не могло: конечно, Грищенко на обложку. Но дурища не послушалась, и вот вам нате, свежий номер испорчен черно-белой фотографией Лоры Андерсон. У нее серый армейский ежик, откровенные глаза, неприукрашенное лицо и морщина между запущенными бровями. Ей, самое малое, пятьдесят.

– Вашу мать, почему все же именно она?

Дурища смотрела безмятежно, словно не на нее орала грозная шефиня!

– Она на человека похожа. Ада Константиновна, разве вы не видите? У нее лицо живого, думающего человека. Это я, заметьте, не упоминаю о том, что она настоящий музыкант и художник, а Гарри – непотребная однодневка, мыльный пузырь, раздутый скандалами. К тому же, извините, мне казалось, что я служу не в порнографическом журнале...

– Вы вообще не будете здесь служить, если немедленно не объясните мне, при чем тут порнография!

– Гарри Грищенко похож на задницу, – на голубом глазу сообщила ей дурища и вдруг захохотала. Ну как же не дура!

– Что?

Ада покосилась на фотографию Грищенко, которая лежала тут же, на столе, и, не удержавшись, прыснула. Гарри Грищенко был молодой, мордатый, наголо бритый, глаза у него были масляные, а губки собирались в розовый бутончик, и общее выражение его лица производило впечатление сказанной или сделанной непристойности, причем непристойности медико-биологической, лишенной эротического подтекста.

– На задницу?

– Ага!

Теперь они хохотали обе. Кто-то заглянул в дверь и тут же захлопнул, видимо испугавшись.

Глава 13

Вадим Борисович курил на лестничной площадке. Было не холодно, но все же его пробирала дрожь, он поводил плечами и топтался на месте, в общем, удовольствие от первой утренней сигареты было отравлено. А ведь раньше Галина не только позволяла ему курить в доме, но и услужливо подставляла, как только он доставал сигареты, пепельницу, подносила зажигалку. Все изменилось с тех пор, как он переехал к ней. На второй же день ему указали – извольте курить на лестнице!

– А раньше, бывало... – все еще воспринимая это как неудачную шутку, заметил он.

– Раньше, милый, ты бывал у меня раз-два в неделю, и большого вреда от твоих сигарет быть не могло. Но каждый день в собственном доме вдыхать дым – извини, я не хочу. Пассивное курение вреднее, чем обычное. И обои пожелтеют.

Галина любовно провела рукой по стене – обои были красивые, белые с размытыми золотыми полосами, а Вадим Борисович все еще не мог опомниться. «В собственном доме!» Давно ли он стал твоим собственным, хотел сказать Акатов, кажется, всего пару-тройку лет назад? Но промолчал, ради собственного спокойствия. Вообще же между совместной жизнью с Галиной и гостеванием у нее же разница оказалась как между эмиграцией и туристической поездкой. Что и говорить, он себе представлял все иначе – ему казалось, что его будут опекать, вкусно кормить, горячо ласкать, прислушиваться к каждому его слову... Ведь она обрадовалась его появлению – навсегда! Или радость была не вполне искренней?

Опасения Акатова были не напрасны. Галина обрадовалась его появлению, о да, но это был первый восторг победы. Победы, которую она одержала над зазнавшейся фифой, Вадькиной женой. Сколько лет она дразнила ее с экрана телевизора – каждый вечер, каждое утро видеть ненавистную холеную физиономию, слышать мелодичный голос и ощущать, как от ненависти и зависти сердце сжимается в комок! О, как Галина ей завидовала! И ведь ничем бабенка ее не превзошла, ни умом, ни красотой, а живет как в меду: мамаша-хирург, муж-предприниматель, дом – полная чаша, работенка – не бей лежачего!

Многолетняя незримая война наконец завершилась победой Галины, соперница почти в одночасье потеряла все. Мать парализовало, работу Анна потеряла, а теперь и главный предмет зависти, ее муж, наконец-то ушел к Галине!

Но как это часто бывает, Галина не знала, что ей делать со своей победой. В сущности, она должна была быть благодарна Анне, ведь всем, чего Галина достигла, она была обязана только своей сопернице.

А как же? В тот самый день, когда Вадим сказал ей, что женится на другой, Галина поклялась себе стать не хуже его жены, стать лучше ее. Анна станет уксусом – Галина станет медом. Через шесть лет после рождения Дашки Галине удалось ловко облапошить Вадима, уговорить любовника ввести ее в их семейный дом на правах няньки.

– Да как же? – недоумевал он. – Галочка, это неудобно. И у тебя ж работа у самой.

– Что ж тут неудобного, – кротко потупившись, как ему всегда нравилось, сообщала Галина Тимофеевна. – Моя шарашкина контора закрылась, зарплату за последние три месяца не выплатили, да ты ж знаешь, сам мне деньги привозил, спасибо тебе. Так что я теперь на бирже стою, как безработная. А если ты о Дашке беспокоишься, так это ничего. Ее-то как раз от детского сада за уши не оттащишь, она даже ревет каждый раз, как я ее забираю. И не болеет она никогда, такая крепенькая девчонка, тьфу-тьфу-тьфу. Ты сам подумай, Вадюша, как же ты постороннего человека в дом приведешь? Такие страсти рассказывают: и травят детей, и теряют, и на органы продают... А я все же не чужая мальчику, зла ему не сделаю.

– Да я не об этом, – мямлил Акатов; удивительно все же, как такой большой мужик может быть таким рохлей и слюнтяем. – А все ж как-то...

– А если ты боишься, что я жене твоей скажу не то или посмотрю не так, то будь спокоен. Ты ж меня знаешь, мне больше положенного не надо, я и так тебе благодарна, что нас с Дашкой не забываешь, помогаешь нам.

Она даже не надеялась, что ей удастся уломать Вадима, но удалось же!

Как она наслаждалась своим «внедрением» в дом соперницы, как грела ее маленькая злая тайна. «Я сплю с твоим мужем, моя маленькая хозяйюшка», – говорила она про себя, глядя в лицо Анны, выслушивая ее указания. К слову сказать, указания не только корректные, но и заискивающие, ведь Галина Тимофеевна с первых дней зарекомендовала себя незаменимой работницей, настоящей драгоценностью! Приобретенный в доме у Акатовых опыт она тоже использовала в своей борьбе. Вадиму дома не разрешают курить? Она разрешила! Никто не интересуется его делами? Она расспрашивала о его бизнесе так, что даже, наконец, начала кое-что понимать. Жена из рук вон плохо готовит, варит покупные пельмени с какими-то жалкими упругими комочками вместо мяса внутри и раскладывает по тарелкам купленный в ближайшей кулинарии холодец? Галина начала выписывать оригинальные рецепты, она и раньше неплохо стряпала, но только самую обычную пищу, а теперь баловала любовника изысканными блюдами, благо продукты он продолжал привозить! Анна следит за своей фигурой, она стройна и легка, как шестнадцатилетняя девчонка? Галина села на диету, занялась гимнастикой. Щепкой не стала, не так сложена, но полнота ее приобрела гибкость, изюминку. А мужик, известно, не собака, на кости не бросается!

Деньги, получаемые на «службе», она тратила на себя, на новые тряпки, на симпатичное белье, купила даже на рынке шелковый пеньюар – дикой леопардовой расцветки, весь обшитый жесткими кружевами и какими-то перьями. Боялась, что Вадим посмеется над ней, но тот обновку одобрил. У него был нетребовательный вкус деревенского парня – нам давай побольше да поярче! – что и говорить, Галина подходила ему куда больше, чем его тонкая Анна!

А пеньюар после первой же стирки превратился просто в грязно-бурую тряпку.

Но главной добычей Галины была привязанность маленького сына ее любовника, хорошенького мальчишки с золотыми кудряшками, с огромными шоколадными глазами. Он тоже был из другого лагеря, он был враг, он был ничем не лучше ее доченьки, а жил и будет жить лучше, чем она, но ему нельзя было показывать своего истинного отношения. Ребенок – не взрослый, ребенка не обманешь, не купишь тонкой лестью и ласковой улыбкой, он любит только тех, кто любит его, и никогда не ошибается. Тогда Галина полюбила мальчику, просто приказала себе – и полюбила, как полюбила, скажем, вареные овощи и отрубной хлеб, потому что они полезны для фигуры, потому что так надо для пользы дела...

И мальчик ответил ей любовью на любовь. Галине доставляло истинное наслаждение следить за тем, как все дальше и дальше ребенок отходит от матери, как привязывается к няньке... Но тут торжество было неполным – рано или поздно няне все равно приходилось уходить восвояси, бежать сломя голову в детский сад за собственной заброшенной дочерью. Галина добирала тем, что рассказывала время от времени заглядывавшему к ней Вадиму про словечки и успехи его не по годам умненького мальчугана – пусть любовник поймет, насколько она привязана к его сыну, как он привязан к ней!

Но к сожалению, это была напрасная трата времени. Галина и оглянуться не успела, как мальчишке пришла пора идти в первый класс, и ее дочери, кстати, тоже. Ей пришлось проститься с мальчиком и с домом Акатовых. Сергей всплакнул, да и у Галины тоже глаза были на мокром месте. Анна подарила любовнице своего мужа, няньке своего сына, золотые серьги с жемчужинками, лепетала что-то о том, как она ей благодарна, как все ей благодарны! И звала заглядывать в гости. Как же, ждите!

Галина поняла, что поставила не на ту карту. К Акатову нужно было подкатываться с другой стороны, и кое-какая работа в этом направлении уже была проделана. Она привыкла выслушивать откровения Вадима о его делах, понемногу стала разбираться в его бизнесе и наконец поймала любовника на слове, когда тот стал жаловаться, что не поспевает повсюду, толкового помощника не найдет, не разорваться же ему!

Не потрудившись придумать что-нибудь посвежее, Галина вновь сослалась на безработицу, на более чем скромную зарплату, а потом и на то, что хочет бескорыстно помочь своему возлюбленному. И опять прокатило! Акатов не только взял ее в свою фирму,

не только ввел в курс дела, но и продемонстрировал доверие почти безграничное. И вышло так, что со временем добрая половина предприятия Вадима Борисовича оказалась в нежных и хватких руках его сердечной подруги. На какой-то момент так оказалось удобнее и спокойнее... Эх, простак, простофилькин!

Кто говорил, что не в деньгах счастье? Кто такой умный полагает, что деньги любви не замена? Еще какая замена! Ведь для чего, по мнению Галины, мужик-то нужен? Без мужика дом тяжело тянуть, без мужика детей не будет, а каждой женщине ребеночек нужен. Ну а уж коли дети есть, их без мужика поднимать тяжело. Вот и все, на что он сгодиться может, – в остальном же от мужиков одни беспокойства. Корми его, пои, обмывай да обстирывай, а он еще с ласками своими медвежьими лезет. Хорошо зажили Галина с дочкой, лучше и мечтать нельзя. Одеваются хорошо, кушают сладко, машину приобрели, что ни год – то на курорт, квартирку выкупили, ремонт состряпали... Чем не жизнь? Вот Дашка еще выучится, хорошего мужа себе найдет, там, глядишь, и внуки пойдут. Красота!

А тут как снег на голову – Акатов пожаловал на ПМЖ! Сперва Галина действительно голову от счастья потеряла. Это был последний аккорд в мелодии ее счастья, жизнь определенно удалась, она получила все, чего хотела, о чем мечтала. Соперница осталась на бобах! Но не прошло и месяца, как именно это последнее завоевание стало казаться Галине чем-то лишним, сомнительным и ненужным. Она привыкла жить одна, ну, пусть не одна, а с любимой доченькой. Их хорошо налаженный, по-женски уютный быт трещал по швам, не вмещая мужчину, – он слишком много ел, много курил, от него пахло грубым одеколоном, он бросал куда попало свои носки и никогда не мыл за собой посуду, он всегда ухитрялся как-то особенно натоптать в прихожей. А его вещи? Он привез две огромные сумки. Куда прикажете деть все эти сорочки, ботинки, свитера, – еще одному гардеробу в квартире места нет!

Вадим Борисович чувствовал это, и ему было неловко. Галина вдруг показалась ему далекой и чужой, словно и не было всех этих лет, когда она считалась надежным другом, своей бабой, крепким плечом! Вот так ошельмовала его простушка-провинциалка, наивная девочка с круглыми плечиками, крепкими грудками! Вот так покатались их веселые денечки, вот тогда дала она жару своему милому! И подпиливала она его, и подкалывала, только что куском не попрекала, а он все терпел и с благодарностью вспоминал Анну, которая не стирала каждый день его сорочки, но и не рычала, аки львица, если он нанес на подошвах грязи с улицы или не помыл за собой чашку!

Дашка тоже была недовольна – она не могла считать Вадима отцом, не могла привыкнуть к его постоянному присутствию. Теперь уж не побегаешь по квартире в одном полотенце после душа! Девочка нервничала, цапалась с матерью, огрызалась на ее новоявленного сожителя, она даже пару раз не приходила ночевать домой, только звонила и отпрашивалась к подругам. В иное время Галина бы полгорода подняла на ноги и уж непременно выяснила бы, у какой такой подружки ночует Дашенька, десять раз бы позвонила, проверила! Но теперь на нее, такую волевою, нашло странное расслабление, она понимала дочь, понимала, что той неохота возвращаться домой... Ей и самой неохота было.

– Дочка, ты опять уходишь?

– Ухожу. – Дарья сидела в своей комнате перед зеркалом и красила глаза так, словно хотела выместить свою досаду на собственных же ресницах.

– К Маше?

– Именно к ней.

Размах щеточки от туши достиг просто-таки угрожающей амплитуды.

– А ты как... Удобно это? У Маши, кажется, еще младшая сестренка есть?

– По сравнению с нашим табором у них просторно, – отрезала дочь. – Мам, можно тебя кое о чем спросить?

– Спрашивай.

– Долго это будет продолжаться?

– Что?

– Не притворяйся, будто не понимаешь! Долго мы будем тут задницами тереться?
– Дарья, что за выражения?!
– Нормальные выражения. По ситуации. Вадим Борисович, кажется, человек небедный, так ведь? Ну и пусть купит себе квартиру, если его жена выгнала из дома! Или, если ему так уж хочется жить с нами, пусть купит большой дом, где мы могли бы жить по-человечески, а не толочься, как сельди в банке!

– Ну-ну, не голоси, – одернула ее Галина, она-то не собиралась затевать выяснения отношений, она только хотела пошептаться с дочкой! Но та, похоже, разучилась говорить тихо; а хуже всего то, что Вадим был дома, сидел на кухне и пил чай. Он все слышал, стенки-то в квартире словно из папиросной бумаги... Впрочем, быть может, это и к лучшему?

А его словно кипятком ошпарило. Он встал и ушел тихонько и постарался в этот день подольше не возвращаться домой, но когда все же сел за руль, то замечтался о чем-то и сам не заметил, как приехал к старому дому. К тому дому, где прожил много лет, где вырос его сын, где он, оказывается, был счастлив, а ведь хотел еще чего-то, большего, все грезилось ему, что это не все, чего он достоин, что должно быть еще какое-то счастье! Вадим смотрел на свои окна – сколько раз вот так же, возвращаясь впотьмах домой, он смотрел на них и видел, как за темными шторами горит свет, как неспешно движутся тени, и его охватывало удивительно теплое чувство, и пусть теща поройставляла его неотесанным мужчиной, жена требовала чему-то соответствовать, а сын был непонятен своей потайной жизнью, и даже не верилось, что он его сын. И все же он был счастлив да! Но быть может, еще не поздно начать все сначала, быть счастливым в новой семье? Он просто не прилагал к этому усилий, он рассчитывал, что все придет само собой, а такого не бывает, любовь – это тоже труд!

Он открыл дверь своим ключом и сразу понял, что Галина уже дома, и вдруг вспомнил, как однажды холодным зимним утром забежал сюда, в эту квартиру, чтобы забрать свои зимние ботинки, а она встретила его – в застиранном теплом халатике, с животом, уже опустившимся в предродовом ожидании, с коричневыми пятнами на осунувшемся лице, и все же цветущая, вальяжная, как согретая горячим летним солнцем тыква, готовая лопнуть от спелости, пролиться целым потоком семян...

И сейчас она вышла ему навстречу, но вместо байкового халатика на ней было черное вечернее платье, тесно облегавшее затянутое в корсет тело, сильно декольтированное, мерцающее там и сям синими звездочками. Вадим невольно заметил про себя, что платье выглядит слишком дешево, оно явно куплено на рынке, к тому же чересчур обтягивает свою хозяйку, да и блески на нем ни к чему. Блестят тени на веках, сверкает губная помада. Впрочем, вкусы Галины не претерпели изменений, она всегда любила одеваться ярко, но как изменилась она сама! Куда делась кроткая провинциальная толстушка? Бровки-коротышки, глазки-пуговики, губки-бантик...

– Как я тебе?

– Ты куда-то идешь? – ответил он вопросом на вопрос.

Галина встала на цыпочки, потянулась к верхней полке шкафа.

– Помоги-ка мне... Вон ту, красную коробку.

В коробке оказались туфли – на высоком каблуке, тоже усыпанные блестками. Галина легко впрыгнула в узкие лодочки, притопнула каблуком, из той же коробки достала крошечную сумочку в тон туфлям.

– Ты не ответила мне.

– Ты тоже, – бросила Галина, повернувшись к зеркалу и подкрашивая свои и без того лоснящиеся от помады губы.

– Ослепительно. Ты выглядишь просто ослепительно.

– Иду на концерт с Жанной. Буду поздно. Дашка остается у подружки, так что ужинай один.

– Что же ты меня с собой на берешь? На концерт?

Галина подняла узко подщипанные брови.

– Извини, Вадик, мы купили билеты аж три месяца назад, сам понимаешь, звезда такого масштаба редко заглядывает к нам в провинцию... И потом, я вовсе не думала, что ты захочешь пойти. За все годы, что мы с тобой знакомы, ты ни разу не сводил меня ни в театр, ни на концерт, и я решила, что это тебе вовсе не интересно...

Акатов промолчал. В конце концов, она была права. Он придержал для Галины ее норковую курточку и чихнул – мех пах цепкими духами, словно псиной.

– Будь здоров.

– Спасибо. Кто-то сигналит под окном. За тобой должны заехать?

– Н-нет, наверное. – И глаза у нее метнулись, она поспешно запахнула шубку, звонко поцеловала Акатова в щеку и тяжеловато выпорхнула за дверь.

Вадим Борисович посмотрел на себя в зеркало, стер цикламеновый отпечаток со щеки и пошел на кухню. Хотел налить себе чаю, но вдруг что-то передумал, щелкнул выключателем. Лампочка под желтым абажуром погасла, в кухню вползли зимние синие сумерки, разбавленные жидким светом фонаря у подъезда. Акатов подошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. У подъезда действительно стояла машина, рядом стояли двое – мужчина и женщина с длинными белыми волосами, оба курили, в полутьме вспыхивали огоньки их сигарет. Женщина наклонилась к окну автомобиля, что-то сказала – внутри, вероятно, был еще человек, потому что сразу же раздался слабый, приглушенный стеклопакетами звук автомобильного сигнала. И почти сразу же дверь подъезда распахнулась, выбежала, балансируя по скользкому асфальту на своих высоких шпильках, Галина. Та, с белыми волосами, – Галина назвала ее Жанной? – замахала руками навстречу подруге, рассыпая со своей сигареты огненные искры, и у Акатова создалось впечатление, что женщина немного навеселе. Он уже хотел отойти от окна, как вдруг случилось нечто, привлечшее его внимание. Показался четвертый персонаж – из машины выбрался мужчина, который, очевидно, сидел за рулем. Кажется, он был невысок ростом, весьма плечист, в черном пальто, и, кажется, был знаком с Галиной довольно близко, судя по тому, как облапил ее, приник к ее рту в страстном лобзании, а после отстранился, поворачивая ее за плечи, как куклешку, вроде как любуясь ее красотой. Галина смущалась и отворачивалась, ей не терпелось поскорее усестись в машину, и она украдкой бросала взгляды на свои окна. «Опасается», – усмехнулся про себя Акатов. Наконец компания погрузилась в автомобиль и все уехали. На концерт.

Акатов просидел много часов в темной кухне за чашкой остывающего чая. Он недоумевал, он искренне не понимал, в чем дело, где он прокололся! Галина же любила его, нет, правда любила! Так почему она так себя ведет? Так куда все делось?

Она пришла около полуночи, веселая, сильно пахнущая вином, со снежинками, запутавшимися, как в тенетах, в склеенных лаком волосах.

– Ты не спишь? А почему сидишь в темноте? – Язык у нее слышимо заплетался.

– Тебя ждал, – поднялся из-за стола Вадим Борисович. – Волновался. Надеюсь, тебя подвезли?

– Подвезли-подвезли, – кивнула Галина, распахивая холодильник, гремя бутылками с минеральной водой. Что она там искала, неизвестно, но Вадиму казалось, что ей просто хочется спрятать лицо.

– Я видел, как ты уезжала.

– Вот как? – заметила Галина, вылезая все же из холодильника.

– Ничего не хочешь мне сказать?

– Ладно, – сказала, как откусила, Галина, усаживаясь на табурет напротив Вадима. – Нас сопровождали муж-ж-чины. Просто хорошие знакомые. Это что – преступление? Криминал? Это запрещено Уголовным кодексом?

Она заводилась, сама себя накручивала.

– Знаешь, Вадик, много лет я делила тебя с женой и ни разу не позволила себе ни вот столечко ревности, ни капельки недовольства. Ты же устраиваешь мне разбор полетов

только потому, что я пошла куда-то с друзьями. Да еще и подсматриваешь, выслеживаешь...

– Нет нужды выслеживать того, кто целуется у самого подъезда, у всего дома на виду, – заметил Вадим, с тоской соображая, что в жизни ему ужасно не везет, постоянно он влипает в какие-то мелодраматические выяснения отношений!

– Это был дружеский поцелуй!

– Конечно-конечно.

– Дружеский! – Галина отвернулась, снова полезла в холодильник, достала початую бутылку водки. – Махнем по маленькой?

– Нет, спасибо. Махай сама.

– Как хочешь. – Она налила себе стопку тягучей, как ртуть, водки, лихо опрокинула, закусила пожухшим кусочком сыра, скучавшим в тарелке. – Ох-хо, хорошо пошла! Эх, Вадик, ничего ты не понимаешь в... в отношениях!

– Разумеется. Ты собираешься спать? Я, пожалуй, лягу.

Он лег в холодную постель, очень надеясь прочно заснуть до того, как придет Галина. Та плескалась под душем, и шум воды звучал рассерженно. Когда она вошла в комнату, Акатов прикинулся спящим и даже всхрапнул пару раз, презирая себя за трусость. Но Галина, очевидно, выпила чуть больше, чем следовало, потому что вознамерилась продолжить дискуссию.

– Сцену ревности он закатил, – язвительным шепотом заметила она и вдруг так рванула на себя одеяло, что Вадим Борисович перекатился на другой бок и вообще чуть не сверзился с кровати. Притворяться спящим было уже невозможно. – Тоже мне... Муженек... Иди своей лахудре закатывай...

– Не смей! – Акатов приподнялся на локте, сознавая, что выглядит смешно и нелепо, но не в силах остановиться. – Не смей говорить так об Анне! В отличие от тебя она никогда...

– Она, конечно, анге-ел, – пропела Галина. – Она ангел белый, а я тварь! Я всю жизнь на него положила, и я же теперь плохая! А чего ж ты ко мне приперся, если я такая плохая, а? Сидел бы со своей, с хорошей-то!

«Дурак был», – подумал Акатов, но ничего такого не сказал, осторожности ради. Но молчание только разохотило скандалистку. Она уселась на кровати, зажгла ночничок под розовым абажуром – основательно подготовилась. Лицо у нее блестело от крема, волосы справа стояли дыбом, слева примялись.

– Молчишь? Вот и молчи! Сколько лет меня морочил, а теперь на тебе подарочек, и слова не скажи, и шага не ступи в собственном доме!

– Галь, ну чего ты! Я ж по-хорошему хотел, – завел Акатов. – Я ж тебе предложение хотел сделать. Дочка у нас...

– Спихватился, эка! До-очка! Выросла она уже, дочка-то, никакой папашка ей не нужен! А ты теперь меня, значит, охомутать решил? Да вот хрен тебе! Не твоя она, Дашка-то!

– Как? – заикнулся Вадим Борисович и смолк.

– Ка-ак! А вот так! Ты, поди, думал, что ты у меня один свет в окошке? Что на меня сроду никто не польстится? Ага, как же! Явился не запылится – вот он я, любите меня! А теперь ты мне даром не нужен! Валяй чеши обратно к своей хорошей жене! А я плоха для тебя!

И пьяная хулиганка толкнула Акатова так, что он чуть не вылетел из постели – во второй раз за ночь, а ведь ночь еще только начиналась! Терпеть было больше невозможно, и он выбрался из кровати, сгреб со стула рядом свою одежду и ушел в ванную, там наскоро оделся, сильно ударившись бедром о край раковины.

– Ты куда это? – крикнула из комнаты Галина. Она, очевидно, спихватилась, что сказала слишком много; показалась на пороге во всеоружии, в цветастом халате, даже взбила волосы, но не стерла с лица жирного ночного крема. – Ночь на дворе! Вадик, ложись. Мы утром поговорим.

– Поговорим, поговорим, – пробормотал Акатов, путаясь в шнурках ботинок, – черт,

откуда же взялись эти узлы?

– Или серьезно решил к женушке податься? Не глупи, Вадик. Она тебя все равно выгнала. Хрен редьки не слаще, живи-ка ты лучше со мной. Там тебе колотиться не у чего – сынишка-то, Сережка, он ведь тоже не твой! Тетеря ты, тетеря! Не везет тебе, Вадик, с детишками-то!

– Ты чего, дура? – шепотом прикрикнул на нее. – Ты чего несешь-то? – Акатов чувствовал, что в груди нарастает, клубится тошнотворная боль, невыносимо теснит под сердцем, и знал, что еще немного, и ему понадобится белая крупинка из стеклянной трубочки, которую он, по совету тещи, всегда носил в кармане пиджака... Но только не сейчас, только не при ней, лучше уж эта боль... – Сама придумала или подсказал кто? Да нет, у тебя бы мозгов не хватило...

– Это точно, – с удовольствием подтвердила Галина. – Жанка – ты ж видел сегодня Жанку, когда в окошко меня выслеживал? – вот она с твоей женушкой дружила. На заре юности типа. Вот она мне порассказала про твою Анютку много интересного! Как гуляли вместе, как с кавалерами на дачке отдыхали... Жанка девка разбитная была, да и твоя благоверная не промах! Но нашлась и на старуху проруха, поехала на каникулы куда-то там и подцепила какого-то там... ик!...какого-то уродца, тот ее отымел, как хотел, да и деру дал, а она приехала с каникул и прибежала к Жанке. Ой, Жанночка, ой, я не побереглась, я, кажется, беременная! А та ей: любишь кататься, люби и саночки возить! Хочешь рожать – рожай, не хочешь – иди на аборт! Записала ее даже к своей знакомой врачихе, у которой сама это самое... ик!...сама не раз разминировалась. Да только Анютка твоя струхнула, не пришла в назначенный денек к врачихе-то, Жанке сказала, вроде ошиблась она. А сама тебя, дурака, захомутала, чтобы грехи свои девичьи прикрыть! Так-то! А ты всю жизнь рот разевал, думал, твой ребеночек недоноском родился?

– Родился, – кивнул Акатов. У него отлегло от сердца, и в груди стало легко и прохладно, как всегда бывало после приступа. – Представь себе, родился. Я и с врачом тогда говорил, и не с одним, и в камере Сережа специальной лежал, я сам видел. На пальцах у него не было ноготков, даже рот не сформировался окончательно, и он не мог сосать, не мог кричать, но уже тогда я знал, что это мой сын. По глазам. Глаза у него, как у моего отца.

Глава 14

Акатов долго прогревал мотор автомобиля, бессмысленно глядел в запотевшие стекла. Он старался думать о чем-нибудь спокойном, бытовом – к примеру, о том, что заморозки в этом году наступили удивительно рано, но, как только ляжет снег, станет немного теплее. Но мог думать только о том, не придет ли Галина. Не решила ли догнать его, попытаться вернуть или продолжить дискуссию прямо здесь, на месте? Во рту у него был медный привкус, будто он долго сосал горсть мелочи, и Акатов не сомневался, что и этот привкус, и возобновившаяся, грозно нарастающая боль в груди есть последствия тех слов, что Галина выкрикивала ему вслед, перемежая брань пьяной икотой. Он бежал вниз по лестнице, мимоходом оцарапывая взгляд об острые края безнадежно полных окурками консервных банок, с каким-то необъяснимым старанием пристроенных курильщиками меж решеток и перегородок, и молчал, а она, выйдя на лестничную клетку, драла свою мощную глотку, и некоторые двери открывались, из темных щелей поблескивали любопытные глаза, а из-за одной двери высунулось и вовсе невиданное – чудовищная башка, покрытая какими-то розовыми наростами, то ли рога это были, то ли бородавки, рожа зеленая, белки глаз вращаются, тело все покрыто бурой шерстью...

– Галка хахаля поперла, – радостно сказал монстр, обращаясь в глубь своего логова.

И Акатов понял, что это вовсе не монстр никакой, а просто баба, хоть и очень толстая, на голове у нее бигуди, лицо покрывает, очевидно, косметическая маска, а тело – махровый банный халат! Но от этого открытия ему не стало легче – Вадим Борисович подумал вдруг с неожиданной головокружительной оторопью, что отныне и до скончания его века все

женщины будут видаться ему именно такими.

Кроме, быть может, Анны. Кроме Анны, думал он, сидя в постепенно прогреваемом нутре автомобиля. Кроме нее – но каков в этом прок? Разве она примет его обратно? Разве смогут они снова быть вместе? Нет, скорее всего, нет. Акатову придется жить одному, ютиться по съемным углам, он все равно не сможет купить себе квартиру, тем более теперь, когда цены на рынке жилья так высоки, а его финансовые дела так плохи, да и если наступят лучшие времена, зачем ему, одному, жилье? Дома и квартиры покупают, чтобы жить в них семьями, чтобы рождались дети и внуки, а в далекой перспективе и правнуки, но ничего этого у Акатова нет. Уже нет.

Как многие обремененные семьей мужчины, Вадим Борисович раньше многое бы дал за свою свободу, но за свободу временную. Сколько раз мечтал он поехать куда-нибудь в одиночестве в отпуск – да хоть бы в родную деревню, главное, чтобы никто не дергал его, не таскал по экскурсиям, не требовал пользоваться за едой ножом и вилкой, не смеялся над его любовью к темному пиву и вобле... Теперь он мог хоть улиться этим пивом, но вот какое дело – почему-то совсем не хотелось! Да и немудрено, в такую-то холодину.

«А что, если и в самом деле поехать в деревню? – подумал он вдруг. – Бросить все и уехать в Акатовку. Как-то там мой старик? Давно его не видел. За лето так и не собрался, осенью послал ему денег на дрова. Хватит ли ему дров-то до весны? Зима ранняя в этом году. Будем сидеть вдвоем у печки, ловить окуней в проруби – интересно, пешню-то ту самую, на заказ сделанную, не утопил он еще? – варить кондер с рыбой и пшеном. Особенно в мороз хорошо... Жаль, что нельзя уехать прямо сейчас – темно, дорога скользкая, не ровен час, разобьюсь».

И Акатов прогрел как следует мотор и поехал к своему дому, твердо решив уже ночевать в гостинице, а утром уехать хотя бы на время в деревню. Но ему хотелось напоследок хотя бы посмотреть на окна, как давеча, чтобы впитать в себя теплый свет и чуть-чуть надежды. Но – и не понял, как ноги сами понесли по знакомым ступеням, истершимся от его шагов, и он прикоснулся к кнопке звонка и отдернул руку, словно обжегшись. Прозвучало далекое таинственное «динг-донг», и тут же послышались легкие шаги. Это Анна бежала открывать дверь, и тут она сказала, а он услышал:

– Кто бы это мог быть?

И по этим словам, по интонациям ее милого голоса Акатов вдруг понял, что жена думала о нем и, быть может, сию секунду воображала, что он позвонит в дверь, чтобы остаться навсегда... Но теперь она не смеет поверить в то, что ей казалось и желанным и невозможным.

– Вадим, ты?

Он обнял ее, удивившись, что она так мала ростом, он уже успел забыть это, надо же! Лицом Анна уткнулась в его грудь, прижалась, вдыхая знакомый и ставший родным за столько лет запах, и вдруг заплакала.

– Ну не надо, не надо, – бормотал Акатов, целуя ее в макушку, в теплые спутанные пряди. – Не плачь.

Но у него самого подозрительно щипало в носу из-за того, что она так некрасиво, так искренне заревела, из-за того, что он понял вдруг – браки заключаются на небесах, и ему на веки вечные дана от Бога именно эта женщина маленькая и тщедушная, с морщинкой на переносице, с некрасивым распухшим ртом, прелестная и жалкая своей слабостью перед ним.

И еще он понял, что никогда и ни о чем не спросит у нее, никогда не потребует объяснений, пусть даже все, что говорила ему Галина, окажется правдой. Ведь у него у самого рыльце в пушку, он не чист перед ней, и право у него только одно: любить ее, какой бы она ни была, любить до последнего вздоха.

Им не дали вдоволь пообниматься, потому что дверь, ведущая в покои Риммы Сергеевны, вдруг тихо раскрылась и на пороге показалась ее сиделка – крупная, черноволосая и такая неразговорчивая, что казалась всем глухонемой. Она и на этот раз не

изменила себе, сделала приглашающий жест рукой, и Анна шепнула мужу:

– Мама хочет с нами поговорить.

Больная уже, вероятно, слышала, что Акатов пришел, слышала, как радостно всхлипывает ее дочь, и теперь ей, натуре активной и властной, не терпелось поучаствовать в семейном воссоединении. Вадиму Борисовичу, шагнувшему на порог, показалось, что теща стала выглядеть немного лучше, мышцам лица постепенно возвращалась гибкость, глаза ее блестели, но говорила она все же плохо.

– Она рада вас видеть, – сказала вдруг сиделка, обращаясь к Акатову. – Она говорит, что очень рада вас видеть и что все время ждала, когда вы вернетесь. Знала, что вы вернетесь, – исправилась она, прислушавшись к прерывистому гуканью больной. – Она говорит, что любит вас, как сына, которого у нее никогда не было, любит вас искренне и бескорыстно и просит прощения за то, что никак не проявляла своей привязанности. Но это оттого, что такой уж она человек.

– Я тоже, – перебил ее Акатов, чувствуя щекотку в уголках глаз и уже не стесняясь своих слез. – Я тоже ее люблю и прошу прощения. Все будет хорошо. Если что-то...

– Она сейчас будет спать, – кивнула сиделка. – Завтра поговорите, все завтра. Ступайте, не беспокойте мне пациентку.

Последнее она добавила, конечно, уже от себя, и Вадим с Анной вышли, прижавшись плечом к плечу. Потом они сидели на кухне и пили чай, и все время что-то ели, посмеиваясь друг над другом, над своим ночным аппетитом, который, конечно, был следствием стресса. Кукушка выглянула из часов и прокуковала три раза. В кухню вошла сиделка Риммы Сергеевны – она была уже одета в светлый плащ, не по погоде легкий, в руках держала старомодную кошелку.

– Вы уходите? Вы разве не останетесь до утра? – удивилась Анна.

– Сегодня в этом нет необходимости, – ответила ей женщина. – Думаю, мне вообще больше не нужно будет приходить.

– Как? – вскрикнула Анна и обернулась к мужу – мол, делай же что-нибудь!

Тот внушительно откашлялся:

– Может быть, дело в деньгах, так я... Сейчас дела, признаюсь, не очень хороши, но мы могли бы...

Сиделка энергичным жестом отказалась от его предположения.

– Ей больше не понадобятся мои услуги, – сказала она и бесшумно растворилась в темноте коридора.

– Подождите, я отвезу вас! – вскочил Акатов, но услышал только, как мягко затворилась за ней входная дверь – она ушла, как всегда не прощаясь. – Ушла...

– Странная она все же, – пробормотала Анна. – Как так можно – уйти и такое вот сказать напоследок. Как ты думаешь, это значит, что мама совсем плоха?

– Не думаю.

– И где ты ее только нашел?

– Я? Я ее не находил. Я думал, ты ее нашла.

– Она просто пришла, и...

Не сговариваясь, воссоединившиеся супруги подошли к окну, а за окном шел снег, и асфальт перед подъездом покрылся уже белоснежным полотном, и на нем не было следов. Ни одного.

А Римма Сергеевна спала и не знала, что в эти ночные часы в ее теле совершается таинственная и благодатная работа, что мельчайшие сосуды восстанавливаются, незримые клеточки оживают и она семимильными шагами приближается к выздоровлению. Ей снился ослепительный, стерильный свет операционной, привычные запахи и звуки, и ей снилось чувство, такое бывает, столь привычное чувство собственной силы и правоты. В этом сне Римма знала, что любому возмездию, любому искуплению положен предел и что она сполна заплатила по счетам, предъявленным ей судьбой, и какой отныне станет ее жизнь – будет зависеть лишь от нее самой.

Утром Римма проснется и встанет с постели сама – впервые за несколько месяцев. Она позовет дочь и сама удивится, услышав свою речь. А через неделю она вернется к работе, удивив своих пациентов, своих коллег, своих завистников. Она будет мыслить ясно, действовать решительно, и успех будет сопутствовать ей во всем, но Римма никому никогда не скажет, что обрела она в эту ночь, и не спросит ни у кого, кто же была ее таинственная сиделка, – потому что будет знать об этом больше прочих.

• • •

Утро выдалось солнечное, но потом подул холодный ветер, нагнал с севера низких туч. Осень напоследок любит просиять по-утреннему, зардеться восходом на окнах противоположных домов, но, словно опомнившись, напустить клочковатых туч. В окно Сережа видел, как тетка выходит из подъезда, как наклоняется, захваченная сильным порывом ветра, придерживает берет, как ее автомобильчик приветливо мигает фарами навстречу хозяйке. Нина предлагала его подвезти, он отказался. Слишком рано. Можно еще поваляться, потом всласть напиться кофе, полежать в ванне. Теперь у него редко выдавались такие утра – чистые и тихие, незамутненные суетой, озаренные холодным предзимним светом. Теперь он все чаще просыпался в доме Ады и еще сквозь сон ощущал обступившие его чужие запахи: мускус ее духов, ее горькое со сна дыхание, уксусный аромат шелковых простыней. Ей часто снились кошмары, во сне она стонала, скрипела зубами, а порой, проснувшись среди ночи, Сережа видел, что она не спит, а опершись на локоть, смотрит на него страшными, мерцающими в темноте глазами. На вопросы она тогда не отвечала, ложилась и отворачивалась к стене, и снова слышалось ее ровное дыхание.

Она все же сдержала свое обещание – купила кровать, очень дорогую, очень большую. Ада уверяла, что кровать сделана из драгоценного материала – из какой-то маньчжурской, что ли, лиственницы, и в самом деле, в порах дерева заблудился неогеновый ветер с Большого Хингана, и спать на ней было так же уютно, как на футбольном поле. Совсем немудрено, что Аде снились кошмары!

Спросенок же она бывала молчалива, словно чем-то недовольна, подолгу пила кофе, курила, роняя с тонкой коричневой сигаретки столбики пепла, зевала, как тигрица, отходя от своих кошмаров, таких же непроглядно-черных, как ее утренний кофе. По утрам Сереже с ней было не то чтобы скучно, а как-то неловко, словно он видел изнанку жизни, не предназначенную для его глаз, он с удовольствием уезжал бы от Ады ночью, но она, как назло, любила, чтобы он спал рядом. Ни слова о любви не было произнесено между ними, но особенно по утрам Сережа чувствовал, что от Ады исходят как бы нити, которые привязывают его, даже не нити, а добела раскаленные лучи, и от этого тоже бывало душно, неловко, это было ни к чему.

К тому же у нее появились странные фантазии. Например, под подушку она теперь всегда клала нож с резной костяной рукояткой, причем делала это таясь. К чему эти игры в основной инстинкт? На Хеллоуин Ада затеяла устроить в своей редакции костюмированную вечеринку, с насмешливой торжественностью вручила Сереже приглашение, отпечатанное красным на черной бумаге, и потребовала, чтобы он непременно тоже был в костюме, какой же костюм приготовила для него, держала в секрете. Он согласился без особого энтузиазма – было, было у него какое-то предчувствие, и оно оправдалось, когда в день примерки Сережа увидел уготованный ему наряд, наряд очень простой – черные узкие брюки, белая кружевная рубашка, белая полумасочка.

– И что? И это все? – крикнул он в раскрытую дверь гардеробной, где наряжалась Ада.

– Нет еще, подожди... Черт бы побрал этот корсет... Нет-нет, не входи, я сама справлюсь.

И вот вышла, наконец, – не то чертовка, не то вампирша, с красными рожками в прядях черных волос, узкое черное платье у пола расходится волнами алых кружев, такие же кружева обрамляют декольте, и Ада похожа в своем наряде на диковинный хищный цветок.

Она улыбнулась Сереже, продемонстрировав длинные клыки. Значит, все-таки вампирша.

– А я кто же? – спросил он, забавляясь ее выдумкой. Пока еще забавляясь.

– Ты... – Она зашла ему за спину, что-то мягко обхватило его шею, звякнула цепочка. – Ты мой раб и моя жертва.

Ада толкнула его в плечо, заставив повернуться к зеркалу. Да, это была, что называется, картина маслом! Ошейник, самый настоящий ошейник с шипами, от него тянется золотая цепочка, Ада, смеясь, поигрывает ею.

– Вампирелла и ее покорный раб, ее жертва! Как тебе, а, цветочек? Как ты думаешь, мне пририсовать еще струйку крови в уголке рта, или это будет уже чересчур?

– Уже чересчур, – пробормотал Сережа, выпутываясь из тонкой цепочки. – Да где он расстегивается! Сними его с меня!

– Разъяренный лев! Весь вечер на арене! – завопила Ада – она, кажется, была в полном восторге. – Р-р-р! Цветочек, ты прекрасен в ярости!

Конечно, они никуда не пошли – Сереже была отвратительна мысль появиться на людях в таком виде, пусть даже и под маской, а Ада не настаивала. Но осадочек-то остался...

В следующий раз она потребовала, чтобы он, немедленно бросив свои занятия, сопровождал ее в путешествии. Ада запланировала целый тур по Африке, недели на четыре, не меньше. Ей не терпелось оставить промозглую, дрожащую под ранним снегопадом Москву, но Сереже-то вовсе не улыбалось уезжать, так и с факультета вылететь недолго, а он и так там держится на честном слове! Но на этот раз Ада проявила упорство. Сереже пришлось, не краснея, уверить деканат в том, что его бабушка тяжело больна – что, кстати, на тот момент уже перестало быть правдой, потому что Римма не только встала с кровати всем на радость, но уже и собиралась выйти на работу. От этого ее, правда, удерживали как могли.

Сергей лгал и Нине Алексеевне, мучительно краснея под понимающим взглядом ее глаз, и получил наконец удивленное разрешение уехать на несколько дней. Театральный фестиваль, весь курс едет, конечно, он привезет программку и расскажет о своих впечатлениях. Вот от чего у Нины волосы бы встали дыбом, так это от впечатлений племянника о поездке!

Ада привезла Сергея в прекрасный город Марракеш, но вот зачем, спрашивается. Они остановились в роскошном отеле, попавшем в список пятидесяти двух лучших отелей мира, сняли номер, в котором каждая вещь была антиквариатом. Номер в лилово-розовых тонах, с огромной кроватью, зеркалами, картинами, бронзой, с мраморной ванной, на краю которой стояли корзиночки с лепестками роз!

– Между прочим, в этом номере любит останавливаться Моника Белуччи, – сообщила Ада, падая навзничь на кровать. – У этой грудастой коровы губа не дура.

Сережа покосился, но ничего не ответил. Ему-то Моника Белуччи нравилась. А Ада как легла на кровать, так, почитай, с нее и не вставала – только для того, чтобы прогуляться по пальмовой роще или поплавать в бассейне. Она требовала в постель еду – а ела она много, хотя на ее фигуре это никак не отражалось, – кальян и... любовника. Сережа недоумевал: зачем тогда нужно было вообще приезжать? Все это можно было получить и в Москве, кроме разве что пальмовой рощи, да кому она особенно нужна? У него были иные представления об отдыхе, он согласился бы и на менее шикарный, не освященный присутствием несравненной Моника номер, он бы все равно возвращался туда, чтобы спать, а дни напролет шатался по узеньким улочкам и базарам, заводя сиюминутные знакомства, наблюдая нравы чужой страны, покупая дешевые безделушки и пробуя с уличных лотков опасные, но такие привлекательные лакомства... А ужинать в номере круассанами и обезжиренным йогуртом – слуга покорный! Один в этом плюс, что факультетское начальство его не разоблачило – в Москву он вернулся почти незагоревшим.

Ада то плакала, то смеялась, то пила абсент, то пичкала Сережу аюрведическими блюдами, то морочила ему голову йогой, то ночи напролет таскала его по барам и клубам, гадала на Таро и на рунах, ходила к заутрене... Короче говоря, она совсем его затормошила и

сама сознавала это. Но что же, что ей было делать? Игра, которая поначалу только немного забавляла ее, перестала быть игрой, и оказалось, что выйти из нее не так-то просто. Это как наркотики, говорила она себе, сначала пробуешь новую игрушку для развлечения, а потом, если обстоятельства обернутся против тебя, эта игрушка будет стоить тебе слишком дорого и может даже погубить тебя... Связь с мальчишкой, у которого были шоколадные глаза, чье тело пахло по-детски молоком и медом, перестала быть забавой. Что-то древнее, дремлющее у нее глубоко в крови тянуло ее к нему. Это была не любовь, не страсть, но странное родство, словно когда-то они уже встречались и принадлежали друг другу, и ночами он шептал ей жаркие речи, а она была юной и неискушенной, она верила ему и таяла в его объятиях, но им пришла пора расстаться, и они расстались врагами. Ночами снился ей незнакомый каменистый берег, гудок парохода в тумане, горькие слезы, они непрестанно текут из глаз и, кажется, доходят ей до колен... О нет, это ледяной, соленый океан омывает ее ноги, соленые брызги летят в лицо и что-то мягко, но грозно переворачивается внутри, в животе, и тут Ада всегда начинала плакать в голос, слезы больше не текли, но судорожные рыдания сжимали горло, не давали дышать, и одно было спасение – не проснуться, нет! Спасением всегда было нащупать под подушкой костяную рукоять ножа – странно теплую, как будто ее только что держала чья-то ладонь. И как только кончики пальцев касались ножа, сознание взмывало вверх, она видела себя со стороны. Одна на берегу, тонкая фигурка, гладкие черные косы, откуда они только взялись? Ада остриглась «под мальчишку» еще в четвертом классе, потому что матери некогда было мыть, расчесывать и заплетать ей волосы, а сама она с ними не справлялась. Та, маленькая Ада оставалась на берегу, а вторая взмывала над ней, над океаном, над горами и лесами, видела с высоты птичьего полета Амстердам, и Тибет, и Кейптаун, и просыпалась в собственной постели.

А Сережа спал рядом – юный, красивый, равнодушный, принадлежащий иному миру, миру юных, и в то же время принадлежащий ей. Разве это возможно? Разве она не вольна пресечь эту связь, разрезать пуповину, связывающую его с миром, ударом своего заветного ножа, чтобы он, ненавидимый возлюбленный, принадлежал ей, и только ей? Приподнявшись на локте, она смотрела на него, сама не зная, что глаза ее мерцают в темноте, как глаза ночной птицы. Иногда в эти минуты он просыпался, и пугался ее пристального взгляда, и думал потом, что есть в Аде нечто, невыразимое словами, невиданное им в других людях. Это нечто лежало на самом доньшке ее непроглядно-темной души и никак не касалось йоги, аюрведы, рун, Таро, заутрени, быть может, только костяной нож с птицами и горными вершинами на рукоятке имел к этому отношение. Это нечто заставляло ее постоянно куда-то стремиться, ненасытно желать перемены места, а может, в душе и перемены времени. Будь ее воля, она бы плясала перед Иродом и говорила с ангелами у Гроба, она была бы ассирийской царицей и багдадской невольницей, она горела бы на костре инквизиции и в добровольном пожаре раскольничьего поселения, она поздравляла бы с днем рождения молодого Кеннеди и вела армию на штурм Золотого храма сикхов... Она могла бы быть кем и чем угодно – цикадой в траве у подножия Большого Хингана, реликтовой кистеперой рыбой в океанической бездне, белоснежной совой в ледяной пустыне... Но она осуждена быть только собой, и потому все стремилась куда-то, как бы убегала от неведомого, и то и дело обнаруживала, что это неведомое все еще с ней, в ней, внутри.

Глава 15

Старая актерская байка гласит: в Щуке, как в Греции, есть все, и даже свое привидение, Белая Танцовщица. Это призрак девушки, отчисленной с первого курса за то, что не могла никак сдать экзамен по танцу. Но несчастная глупышка не мыслила себе жизни без театра, потому покончила с собой – сразу после того, как был вывешен приказ об отчислении, ночью, в пустом танцклассе. Случилось это еще во времена царя Гороха, но с тех пор призрак Танцовщицы не покидает здания училища. Ночами, особенно во время полнолуния, можно слышать в пустом танцклассе шорохи и шаги – мертвая девушка репетирует свой

вечный танец. Вот скрипнула половица, вот невесомо зашелестел шелк... и сама ночь, медленно кружась под беззвучную музыку, приподнялась на пуантах. У этого танца нет зрителей, у этой музыки нет автора, где-то в оркестровой яме Вселенной величественно звучат цикады, и только летучие мыши – балетмейстеры душных летних ночей – знают древнюю тайну этого действия. Но Белая Танцовщица потому и Белая, что дружит со светом. Говорят, она охотно идет на контакт с живыми, но для живых этот контакт порой заканчивается плачевно. Была вот в училище техничка тетя Луша – бабища мощная, вечно хмельная и всегда всем недовольная, особенные нарекания вызывали у нее студентки и молоденькие актрисы. Она называла их прощелыжками и свиристелками и всегда норовила хлестануть, вроде невзначай, грязной тряпкой по нарядным ножкам.

– Нечего тут крутиться, трудящейся женщине мешать! – порывивала в ответ на робкие замечания грозная техничка. – Машут тут хвостами! Сидели б дома, детей рожали да щи варили, бесстыдницы!

Эта самая тетка Лукерья как-то в лунный вечерок решила прибрать танцкласс. Вздыхая и пыхтя, вскарабкалась на второй этаж по крутой лестнице, но уже через минуту проделала обратный путь, да так резво! Кубарем скатилась с лестницы, сопровождаемая бойко грохочущим ведром и растрепанной шваброй! В ответ на расспросы окружающих она молчала, только охала и тарасила глаза, пока какой-то умник не додумался принести из каморки, где техничка держала свой рабочий инвентарь, заветную бутылочку. Тетя Луша сделала пару глотков беленькой и пришла в себя.

– Ох ты, матушка моя! Захожу я в классу-то, а там темно и вроде как девка у перил этих приседает. Да какая девка, как все тут, обычная, тощая такая, в беленьком вроде чем-то. Я ей ласково так говорю: свечерело уже, поди, милка, домой, хватит тут пляски-то плясать, мне убираться надобно. Она молчит, ни гугу, только глазом этак на меня повела, и снова знай себе ноги задирает. Я ей построже: ты что, мол, не слышишь, сикильда ты бледная? Неча тут голяшками размахивать, иди домой да делом займись! И тут, ма-атушка моя! Как кинется она ко мне, вот словно ветром сквознуло, только что в дальнем углу была, и уже лицом к лицу стоим, а морда-то у нее синеет, на глазах раздувается... Тут я смекнула – будто и не человек это, а плясунья белая, слышала уж про нее! Подняла руку, хотела крестное знамение сотворить, а рука ровно каменная стала, и не поднять ее, и слышу – харя эта синяя смеется надо мной, пакостно, мелко так хихикает и аж трясется вся от смеха.

Цопнула меня за шкирку и как пихнет, да еще и сзади пинка добавила, откуда только силища такая у покойницы-то? Тут я и себя забыла, и не упомяну, как внизу оказалась... Теперь что хошь со мной делай, а я в эту классу больше ни ногой, и убираться там не стану, управляйтесь сами, как знаете!

Лукерья Ивановна была не дура выпить, об этом все знали, поэтому словам ее большой веры не было. Некоторые злые языки поговаривали даже, что хитрой тетке просто неохота было мыть огромный танцкласс, вот она и сочинила настоящий ужастик. Другие же возражали, вполне резонно, что такой буйной фантазии от технички, пусть даже и пьющей, ожидать нельзя, значит, женщина говорит правду. В пользу тети Луши говорило и то, что после конфликта с потусторонним она с алкоголем завязала, а к студенткам стала поласковее, и хоть продолжала навеличивать девушек «свиристелками», но грязную тряпку уже придерживала, как и советы насчет жизнеустройства.

Тем не менее вскоре одна из «свиристелок» по имени, скажем, Маша серьезно задумалась насчет перемены своей женской судьбы. Дело-то молодое, не побереглась, залетела, сама из провинции, в общем, старая история. Избавляться от ребенка ей было жаль, ее приятель воспринял свое отцовство без энтузиазма. В принципе он согласен был жениться и взять на себя заботу о жене и потомстве, но поставил перед студенткой условие – сродни тому, что поставлено было андерсеновской Русалочке. Красавице Маше предстояло выбрать: либо дом, ребенок, покорность мужу и тихие прелести семейного очага, либо подмостки, аплодисменты, неверная актерская удача и вечная погоня за миражами. На раздумья ей была дана неделя, неделя подошла к концу, а девушка так и не смогла найти правильного

решения. Однажды после поздней репетиции она забрела в пустой танцевальный класс и там, как и следовало ожидать, встретила Белую Танцовщицу. Но к несчастной рабе любви призрак отнесся гуманнее, чем к полупьяной техничке. По словам Маши, она сначала испугалась, но Танцовщица заговорила с ней очень ласково и даже дала несколько неглупых советов, касающихся личной жизни. Следуя этим советам, девушка послала кандидата в мужья и незадачливого папашу туда, куда и следовало послать, и в тот же день ей позвонили с киностудии, где она проходила кастинг – полгода назад. Машка обрадовалась, но как же быть с потомством-то? Не поступаться же живой душой ради съемок в сериале, пусть даже и у очень хорошего режиссера?

Все же она сходила на студию, честно рассказала там о своем интересном положении, но ее не прогнали, а совсем наоборот! Режиссер пришел в восторг, заявил, что это то самое, что ему было нужно, продюсер расцеловал будущую кинодиву в обе щеки и приказал приступать к съемкам немедленно же! Следуя сценарию сериала и сценарию собственной судьбы, Машка выносила, родила и выкормила ребенка, чудесную девочку, а под занавес съемок, когда вся страна совершенно офанатела от ее обаятельнейшей героини, вышла замуж за немолодого, но очень талантливого режиссера. Режиссер от счастья потерял голову, он обожал, как он говорил, «своих девчонок», начал снимать Машку во всех главных ролях, и всем этим она была обязана Белой Танцовщице, которая дала ей такой своевременный совет! А кабы не привидение, быть бы Маше никчемной женой менеджера низшего звена, брызгливого язвенника, варить ему протертый супчик и выслушивать ежедневные попреки!

Бывало, что Белую Танцовщицу не видели несколько лет кряду; бывало и так, что на одном курсе ее видело по три-четыре человека. Она стала чем-то вроде Хозяйки Медной горы – тех, кто приходился ей по душе, она дарила ценными советами и рекомендациями, тех же, кому не благоволила, пугала мало не до смерти. Особенно изощренно обошлось привидение с одним юным сердцеедом, большим ценителем женской красоты, который к третьему курсу произвел премного бед и разрушений в сердцах миловидных соучениц. Обласкав зазнавшегося ловеласа приятными словами, Белая Танцовщица подобралась к нему и поцеловала прямо в губы. Ох, каким холодным было это лобзание, не хуже каменной десницы Командора! Сердцеед оцепенел, а потом и вовсе сомлел, и его нашли только утром – он мирно сопел в девичьей раздевалке на скамеечке. Над ним посмеялись и забыли, но со временем весь курс стал свидетелем поразительных перемен, произошедших со вчерашним покорителем сердец. Он не бегал больше за юбками, он все время и силы отдавал учебе и работе над собой, а после выпуска женился на особе внешне не примечательной.

– Чем же она тебя привлекла? – спросили у него.

– Душевыми качествами, – кратко ответил вчерашний ловелас, ценитель женской красоты.

Сережа припозднился и не заметил, как остался в здании один или почти один – на вахте зевал над кроссвордом охранник, ленивый мордатый парень по прозвищу Кличко. И вот тогда он услышал прямо у себя над головой, на втором этаже, где размещался танцкласс, шорох, скрип половиц, легкие шажочки... В груди стало холодно, волосы на затылке стали дыбом, но было еще и весело, как будто кто-то щекотился изнутри. Почему-то на цыпочках Сережа вышел из аудитории, в три прыжка преодолел лестницу.

– Э! – крикнул ему вслед Кличко, но Сережа только отмахнулся.

Тяжелые двойные створки дверей подались легко, без скрипа. Он вошел и притворил за собой дверь. После ярко освещенного коридора там показалось очень темно, потом глаза свыклись с мраком, и в нем стали намечаться проблески – холодное сияние полной луны; сверкание фар проезжающих мимо машин; слабое мерцание далеких фонарей; электрическое свечение окон противоположного дома. Все эти просветы едва угадывались сквозь плотные шторы, отражались во многочисленных зеркалах, легкими бликами плыли по потолку и полу, так что чудилось, будто и вся комната плывет куда-то, преодолевая зыбкую границу между тьмой и светом, надеждой и отчаянием, и единственное в ней казалось и

вещественным, и несомненным – силуэт девушки в белом. В самом дальнем от Сережи, самом темном углу она замерла, будто ожидая, и нарушила молчание первая.

– Ты храбрый, – сказала она, и голос ее показался Сереже знакомым – знакомым всю жизнь. – Храбрый мальчик. Зачем пришел?

– Просто так, – ответил он, сознавая, что говорит глупость, но полагая, что это простительно – он ведь в первый раз в жизни говорил с призраком!

– Может быть, ты хочешь, чтобы я рассказала тебе о твоём будущем? Или поцеловала тебя? Или пригласить меня на танец?

– Д-да... Я приглашаю тебя. Давай потанцуем.

И зазвучала незримая музыка. Они танцевали в темноте, они танцевали на свету. В таинственно скользящих лучах Сереже было не разглядеть ее лица, но он знал уже в сердце своем, что лицо ее прелестно, а руки теплы, как у живой. Девушка молчала, и дыхания ее не было слышно, да и какое дыхание у призрака?

– А что же будущее? – спросила она его, и Сереже пришло в голову, что привидению не терпится открыть ему тайны грядущего. Вдруг она обязана это сделать, а он не дает ей и тем причиняет страдания?

– Расскажи, – попросил он.

Ее смех прозвучал звонко и коротко, словно уронили колокольчик.

– Тебе же не хочется ничего знать, верно? Тебе кажется, жизнь твоя вошла в тупик и никто не в силах тебе помочь. Никто, и уж тем более не та женщина, которая с тобой рядом. Она красивая и страшная, таких называют роковыми, она старше тебя, и...

– Да? – машинально удивился Сережа, которому мысли о возрасте Ады не приходили в голову, а Белая Танцовщица говорила именно об Аде.

– Да. Она не может любить тебя, она играет тобой, и ты ей не пара. Ты сам это знаешь, поэтому у тебя лицо такое печальное, а глаза беспокойные. Может быть, тебе стоит забыть о своих тревогах и спокойно оглядеться по сторонам?

– И что я увижу? – спросил Сережа, принимая ее откровенную игру.

– Если согласишься, как следует, то наверняка увидишь девушку, которой ты небезразличен. Она давно глядит на тебя...

– А как ее узнаю?

– Она поцелует тебя... Вот так.

Теплые губы приблизились, прижались, огромные глаза заслонили весь мир, и в ту же секунду вспыхнул ненужный ослепительный свет, и они отпрянули друг от друга, ошеломленно моргая.

– Вы чего это тут? – проворчал воздвигшийся на пороге Кличко. – Пляшут... Я думал, тут эта, баба белая. Ну, пляшите, пляшите...

Катя – а это была конечно же однокурсница Катя, большеглазая, всегда чуть отстраненная, надменная Сережина сокурсница, – фыркнула, проскочила мимо внушительной фигуры Кличко и опрометью кинулась вниз по лестнице, только как сухие листья, гонимые ветром, прошуршали подошвы легчайших туфелек ее, только белым мотыльком вспорхнул подол ее белого платья. А он хотел окликнуть, догнать, но не смог сойти с места, да к тому же в кармане у него назойливо завибрировал телефон. Звонила Ада, разумеется, звонила Ада! Она подарила ему эту навороченную и дорогую модель, вызвавшую интерес однокурсников и Нины Алексеевны, к счастью в телефонах не разбирающейся!

– Только не выключай его, цветочек. Никогда, – сказала она, преподнося свой сюрприз, и Сереже стало тошно от ее командного тона, от небрежного жеста, которым она потрепала его по щеке, от ее взгляда, в котором нежность мешалась пополам с насмешкой, словно он был пушистым зверьком, котенком, замурзавшим мордочку молоком. – Ты меня понял?

И он кивнул, почувствовав мимолетное отвращение к себе. Но телефон был такой навороченный, и Ада в тот день казалась ему особенно эффектной, и на вечеринке, куда они потом отправились, все глазели на них с завистью, сладко шумело в голове от коктейлей,

вкрадчиво подмигивали вспышки фотокамер...

Правда была в словах так ловко разыгравшей его Кати – правда, которую он знал уже давно, но только сию секунду смог осознать и принять.

Ада, разумеется, требовала, чтобы он немедленно приехал к ней, хотя предыдущую ночь они тоже провели вместе.

– Я лежу в ванне, и мне скучно, – пожаловалась она. – Мы останемся сегодня дома, никуда не пойдем...

Сережа поморщился. Это было хуже всего, что можно себе вообразить – целый бесконечно длинный вечер и целая ночь наедине с Адой, скучающей, алчной, загадочно-угрюмой женщиной, которую он не любил, очарованность которой у него вдруг прошла, будто и не было. И он решил прибегнуть к обману. Будь его ложь чуть более сложной, Ада разгадала бы ее, но Сережа врал так по-детски!

– Прости, но я приехать не смогу. Моя родственница, ну, у которой я живу, вот она чувствует себя плохо, и мне... – Сережа сделал едва ощутимую, но нервную, перенятую его голосом у какого-то рваного танца паузу, ожидая немедленного и неизбежного разоблачения, – мне придется побыть с ней. Может, за лекарством нужно будет сбегать или врача вызвать...

– Конечно-конечно, – милостиво согласилась Ада. – Святое дело, дежурить у одра болезни. Мой дядя самых честных правил, и все такое. Родственников нужно любить и ценить, особенно тех, у кого есть квартира в Москве. Передавай своей несчастной старушке от меня пожелание скорейшего выздоровления. И не скучай, хорошо?

– Передам. Хорошо, – машинально ответил Сергей, усилием воли подавив желание запеть от радости. Прокатило! Она поверила! Она отпустила его, освободила, пусть не навсегда, пусть только на сегодняшний вечер, но он свободен, свободен!

...

А та, кого Ада столь опрометчиво назвала «несчастной старушкой», в это время отнюдь не покоилась на «одре болезни», а была вполне счастлива в обществе своего возлюбленного. Они как раз ехали ужинать, а после ужина...

– После ужина я улетаю, так что цигель-цигель, – объявил Леонид. – Ты, наверное, не хочешь со мной? А ты вообще была когда-нибудь в Англии?

– Я и во Франции не была, а в Испании тем более, – с готовностью откликнулась Нина. – Не говоря уж об Италии. Что там еще в Европе осталось, где я не была?

– Много чего. Но не плачь, Маруся, мы все наверстаем. Вот теперь бы и приступили...

– Лень, не начинай, – поморщилась Нина. – Я ж сказала, не могу. Все так внезапно...

– Привыкай, родная... В моей... в нашей с тобой жизни ритм вообще бешеный. Знаешь, как на реке? Люди ночью спят, и рыбы спят, и птицы, а вода – все равно движется куда-то... Что будешь пить?

– Апельсиновый сок.

– А покрепче?

– Пожалуй, воздержусь.

– Солидарен.

– Какой смешной официант!

– Что же в нем смешного?

– Фрак. Знаешь, я никогда не видела мужчину во фраке.

– А дирижеров?

– Что – дирижеров?

– Дирижеры всегда во фраке.

– Милый мой, я вижу, ты в последний раз был на музыке в четырнадцать лет?

– Слушай, а откуда ты знаешь?

– Мы же вместе были. С классом тогда ходили на «Князя Игоря».

– «О дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить!»

– Блестяще. Не понимаю, почему ты не пошел в оперные певцы.

– Жажда наживы, моя дорогая, жажда наживы.

– Так вот, о дирижерах.

– Дирижеры зарабатывают того меньше.

– Я не об этом, стяжатель!

– Я – стяжатель? Ничего себе комплимент! Между прочим, я на днях отвалил громадные деньги на благотворительность!

– Знаем мы эту благотворительность! Все разворуют, Леня, все!

– Не разворуют, – уверил он ее, намазывая кусочек хлеба маслом. – Я проследил. Купил томографы трем московским клиникам. Так что там насчет дирижеров?

– Дирижеры сейчас вовсе не обязательно выступают во фраке. Я как-то была в опере, так дирижер вообще был в джинсах. Пиджак, а под ним – джинсы! Я разглядела!

– Старательно же ты глазела на его задницу!

– Ну... да. А что? Нельзя?

– Когда ты выйдешь за меня замуж, будет нельзя.

– Шортман, да ты, оказывается, деспот!

– Ты меня еще не знаешь. Я хищник. Я хочу мяса. Ты будешь есть мясо?

– Я буду рыбу. И десерт. Вот этот, персиковый.

– А я мясо. Дайте мне мяса, большой кусок мяса с кровью. И чтобы крови было много.

– Дайте ему мясо отдельно, донора отдельно.

– Извините?

– Я пошутила.

Фрачник-официант вежливо посмеялся и ушел выполнять заказ.

– У меня создалось такое ощущение, что он смеялся из вежливости, но если бы мы настаивали, то донор был бы подан.

– Можешь в этом даже не сомневаться. Если бы мы настаивали, он отдал бы нам всю собственную кровь. За те деньги, что они тут получают...

– А что – много?

– Думаю, порядочно.

– А мне вот зарплату два года не прибавляли.

– Слушай, я давно хотел тебе сказать. Зачем тебе вообще работать?

– Здрас-сте, пожалуйста, как же мне не работать? А кормить меня кто будет, а за квартиру кто будет платить? И губную помаду я себе сегодня купила, тоже серьезный расход. Недешевая. Ажно целый полтинник стоит!

– Полтинник – это пятьсот рублей?

– Страшно далек ты от народа, Леонид Шортман! Полтинник – это пятьдесят.

– Покажи-ка.

– Не лапай, не купишь. Видишь – розовенькая.

– Нина, я серьезно. Давай поженимся. Хочешь, прямо сейчас?

– Ты опоздаешь на самолет.

– Не опоздаю. Без меня он просто не полетит.

– Это почему же?..

– Потому.

– А-а-а...

– Вот-вот. Соглашайся.

– А как же белое платье? Я в первый раз выхожу замуж и хочу белое платье.

– Не вопрос. Сейчас прямо поедem и купим. Платье, фату, букет. И... что там еще надо?

– Вообще-то надо, прежде всего, кольца. Но еще раньше надо, чтобы ты перестал заговаривать мне зубы и объяснил: при чем тут моя работа? В какой связи она находится с нашим гипотетическим бракосочетанием?

– Как... Ну... Ты ж после свадьбы бросишь работать. Зачем тебе? Зарплату, ты

говоришь, маленькую платят, губная помада у тебя вон за пятьдесят рублей. И начальница, ты говоришь, сука.

– Она не сука. Она хорошая девка, только избалованная. У нее, говорят, папаша какой-то олигарх.

– Ну? Кто такой? Может, я его знаю?

– А-а, я в эти сплетни не вникаю. Леня, ты мне вот чего объясни, а то я, может, недопонимаю чего. Почему это я после свадьбы должна бросать работу? Чтобы тебе щи варить? Полы мыть и рубашки стирать? Ты для этого на мне женишься?

– Нин, ты чего? Какие на фиг постирушки? Что, у меня не найдется, кому рубашки постирать? Я ж, наоборот, хотел, чтобы ты отдохнула, занялась собой... У нас еще, может, дети будут...

Шортман сказал что-то не то и сам это почувствовал – Нина изменилась в лице, и подбородок у нее мелко задрожал, но она превозмогла эту дрожь.

– Какие дети, Леня? Ты что, не помнишь, сколько мне лет? И что значит – «занялась собой»? Моталась по магазинам, салонам красоты и курортам? Леня, ты меня с кем-то путаешь. По-моему, тебе не на мне надо жениться. Тебе нужна здоровая особа репродуктивного возраста, не отягощенная интеллектом, сведущая в высокой моде и косметических новинках. И вообще...

– Да не нужна мне... неотягощенная! Нина, мне не нравится наш разговор. Давай его прекратим. Прекратим, и все. Напоследок хочу сказать, – тут Шортман понял, вернее, почувствовал неловкость этого своего дурацкого «напоследок», но было поздно, – что ты меня просто неправильно поняла.

– Тогда и я тебе кое-что скажу. Напоследок. Леня, мы с тобой, можно сказать, друзья детства. В первом классе наша учительница Елена Матвеевна посадила нас за одну парту. В десятом классе ты сказал мне, что хочешь на мне жениться. Через год ты ушел в армию, я тебя ждала, но не дождалась. Давай называть вещи своими именами: ты меня просто бросил.

– Нина, я... Нина...

– Не надо ничего говорить. Как бы прекрасны и благородны ни были причины, побудившие тебя к этому, факт остается фактом. Ты бросил меня и за столько лет не дал о себе знать.

– Просто я решил, что ты давно замужем, у тебя дети, и...

– Ты слишком много решаешь сам, Шортман! Ты привык все решать сам, не особенно интересуясь мнением окружающих, верно? Этаким купчина-самодур!

– Так в этом вся загвоздка? Нинка, да ты стала феминисткой! Какой кошмар!

– Суть не в том, кем я стала или не стала. Суть в том, что я изменилась, Леня. И ты тоже изменился и не имеешь больше ничего общего с тем долговязым одноклассником, в которого я была по-детски влюблена. И я больше не та девочка, за которую ты решал контрольные по алгебре. Мы – чужие, совершенно незнакомые друг другу люди. Мы встретились и, будучи под впечатлением от этой встречи, провели вместе ночь.

– А потом еще одну. И еще.

– Верно. Но прости меня за цинизм, Леня, постель – это не повод для... чего-то очень серьезного. – А тут уже сама Нина поняла, что далеко зашла, но не сменила свой колючий тон. – То, что я переспала с тобой, еще не значит, что теперь я принадлежу тебе на веки вечные и буду подчиняться всем твоим прихотям. Ты подумай об этом, хорошо? А я сейчас пойду.

– Куда ты? А рыба? А десерт?

– Мне и без сладкого тошно. Счастливого пути, Леня. Позвони как-нибудь, если будет свободное время. Пока.

Она бросила на стол салфетку и ушла, вся такая стремительная. Шортман даже встать не успел. Посмеиваясь и качая головой, он принялся за свое мясо. Небольшая размолвка не испортила ему аппетит. Что за женщина, ну и характер! Гордая. Он сентиментально припомнил, как однажды, много лет назад, Нина облила его несвежей водой из цветочной

вазы только за то, что он якобы водил в кафемороженое Ленку Мелехову из 9 «Б». На самом деле он заскочил выпить минералочки, а Ленка с подружкой уже сидели там, лакомились пломбиром под шоколадной крошкой и позвали его к своему столику. Леня и просидел-то минут пять, не больше, – столько, сколько нужно мальчишке, чтобы проглотить стакан газированной воды и пирожок с повидлом, но кто-то видел его и донес Нине. Он пришел к ней вечером, принес, как дурак, букетик тюльпанов. Нина сдержанно поблагодарила его, пригласила в комнату и стала искать, куда бы пристроить цветы. Из синей вазы торчали засохшие прутики сирени. Нина вытащила их, засунула в мусорную корзину возле своего письменного стола, а тухлую воду аккуратно вылила ему на голову. Он сидел, оторопев от неожиданности, в мокрой рубашке, с волос у него текло, на горбинке носа повисла какая-то зеленая тина, а потом он понял вдруг, в чем дело, и начал смеяться. И Нина тоже смеялась, когда он все ей объяснил. А потом они пошли в ванную стирать его рубашку, и там он, кажется, в первый раз поцеловал ее. Очень романтично! А когда рубашка была уже выстирана и высушена с помощью утюга, когда они уже сидели на кухне и пили чай, пришла Римма Сергеевна. Она подозрительно повела носом – в воздухе висел запах глажки, уютный и веселый запах, в котором было что-то праздничное, – но ничего не сказала, а накормила их очень вкусным сервелатом.

Да, но с чего Нина теперь-то так взъелась?

Он наспех и без удовольствия закончил свой ужин, все думал, на что она рассердилась.

Он думал об этом в машине.

Думал в самолете.

И когда тот уже заходил на посадку, Шортман вдруг понял.

Звонко хлопнул себя по лбу:

– Какой же я дурак! Дурак я какой!

«Какие дети, Леня? Ты помнишь, сколько мне лет?»

Вот оно в чем дело. Не так уж много ей лет, кстати. Но если...

Да не нужны ему никакие дети! Столько лет жил без них! Вот еще! Что она себе такое навоображала, глупенькая? Расстроилась сама, его расстроила, обозвала купчиной-самодуром! Может, ей так уж дети нужны, но их вовсе не обязательно из себя рожать, можно взять готовенького! Шортман так и решил ей сказать, прямо вот позвонить и сказать, что они поженятся, когда он вернется, и возьмут, в лучших купеческо-самодурских традициях, сиротку на воспитание!

Он едва дождался, когда самолет сядет, даже забыл, что боится летать.

И сразу набрал номер Нины.

Хотя она, наверное, уже спит.

Ничего, проснется. Ради такого случая.

Но она не торопилась брать трубку, и Шортман хотел уж дать отбой. Может, она понервничала и приняла снотворное, а он бессовестно тревожит ее своими глупостями! Можно ведь поговорить и когда он вернется, правда?

– Аллоу...

– Нин, ты спишь? Это я, Нин. Ты не сердись, что я тебя разбудил, просто я хотел сказать...

– Лазарева Нина Алексеевна вам кем приходится?

Только тогда он понял, моментально похолодев с головы до пят, что этот скрипучий старушечий голос в телефоне не принадлежит, не может принадлежать Ниночке.

– Я... Я ее знакомый, то есть будущий муж, то есть... А что с ней? Где она?

– А то с ней, что она находится у нас, в сто тринадцатой городской больнице, в реанимации. Привезли после автокатастрофы. Аллоу? Гражданин, вы где там? Будущий муж! Аллоу!

Глава 16

Шел снег, или дождь со снегом, или просто какая-то ледяная чепуха сплошным потоком валилась с черного неба.

Нина стояла в пробке. Пробка была глухая, безнадежная, но какие-то автомобилисты-невротики то и дело принимались хамски сигналить и так же безысходно хамили друг другу и «наконец-то дозвонившимся до нас слушателям» – диджеи по радио. Нина протянула руку и заткнула диджеев, да так, что черненький шпенечек остался у нее в ладони. Теперь еще и радио сломано. Великолепно! Впрочем, ей, кажется, особенно терять нечего. Она же выходит замуж за олигарха! Он же купит ей все, что она захочет, – и новый радиоприемник, и новую машину, и даже, если она как следует попросит, самолет! Самолет в плане передвижения по Москве, пожалуй, будет лучше всего. Но вот двигаться ей уже никуда не придется, работать-то она бросит. Выйдет на пенсию. А кто она есть, разве не пенсионерка? И почему самое лучшее, что с тобой могло произойти, происходит безнадежно поздно, почему все хорошее всегда опаздывает? Потому что бог любит терпеливых и всегда вознаграждает их, по мере минования надобности.

Как уходила ее молодость, как вспоминала Нина о нем, о Леониде, как тосковала порой, как гадала: какой он теперь? Помнит ли ее? Вспоминает хоть иногда? О любви же она не думала вовсе, область чувственного была закрыта для нее. Нина поставила на себе крест, смирилась с участью старой девы. «В конце концов, – говорила она себе, – есть женщины для любви не созданные, и это к лучшему, что я, будучи именно такой женщиной, не вышла замуж. Брак не принес бы мне радости, быть может, я мучилась бы сама и мучила мужа...» На вопросы досужих приятельниц, пытающих Нину, отчего та не выходит замуж, она спокойно отвечала:

– На мое счастье, у меня к этому нет ни малейшей охоты.

Подруги пытались сосватать ее, сводили то с тем, то с этим кавалером, и Нина даже не без удовольствия ходила на свидания. Ей доставляло удовольствие общение с умной женщиной, и так как она была простой, открытой и искренней, то многие мужчины чувствовали себя в ее компании очень комфортно, как бы в компании старого друга, славного парня, своего парня... Некоторые из них и в самом деле стали ее друзьями. И только.

Все изменилось после встречи с Леонидом. Она не знала даже, зачем окликнула его тогда – просто ей дышалось легко от свежести слепого дождика, просто улицу ярко освещали желтые и багряные кроны каштанов, просто она не успела сдержать своего порыва. А ведь Нина могла пройти мимо и унести в своем сердце осенний свет этой запоздалой встречи, осиять им свое уютное, эгоистическое одиночество! И ведь она ничего не ждала от этого randevu! Вспышка легкой беседы, туманец ностальгии в глазах, «а помнишь?», «а помнишь?», может быть, еще поцелуй в щеку с непременным юмористическим всчмоком.

Но вышло иначе. Все, что копилось в ней столько лет, она излила в эти осенние месяцы, стыдясь пробудившихся острых желаний. Оставаясь наедине с собой, она плакала от любовного томления, от нежности к Леониду, от своей жадности к нему. И этого было бы довольно, но в последнее время с ней творилось и вовсе уж что-то непонятное – бросало то в жар, то в холод, настроение менялось, как погода весной, голова кружилась, еда вызывала отвращение, ныла грудь. И луна отвернулась от Нины окончательно, впрочем, ее лунные дни и раньше не отличались регулярностью. Нина решила пропить курс витаминов. Как и многие редко болеющие люди, она считала витамины панацеей от всех хворей и искренне полагала, что если раз в день принимать красивую розовую капсулу из красивой розовой баночки, то недомогание как рукой снимет. Но в аптеке ее поджидала судьба в лице бойкой молодой особы. Особа, облаченная в суперкороткий белый халатик и кокетливый зеленый передничек, раздавала посетителям аптеки какие-то брошюрки, причем, как заметила внимательная Нина, полиграфическая продукция доставалась отнюдь не всем, а только дамам бальзаковского возраста.

– Вот возьмите, и будьте здоровы! – обратилась к Нине девушка. Смешно сказала, точно Нина только что чихнула. Брошюрка была зелененькая, как фартучек девушки, и

белые буквы на зеленом фоне гласили: «КЛИМАКС НЕ ПРИГОВОР».

Вот как, значит. Значит, не приговор. Какая радость! Нина спрятала брошюрку в сумку и дома подробно ее изучила, причем нашла у себя все перечисленные симптомы. Вот как, значит, отомстила ей природа за то, что она долго отказывалась от своей женской сути! Бодрый тон брошюрки Нину не утешил, и она не поверила в чудодейственную силу рекламируемого в ней снадобья. Ей оно точно не поможет. Ей уже никто не поможет.

Колонна машин тронулась, поползла, Нина ожесточенно нажала на педаль. Она сожалела о своей сегодняшней вспышке. Леонид ни в чем не виноват – только в том, что его не было слишком долго. Но он тоже страдал от этого. Что бы Нина ни наговорила ему, она была уверена, что он страдал, и бизнесменом-то стал только затем, чтобы уйти в работу, забыться, забыть ее. Вот какой сентиментальный бред клубится в голове даже у самых здравомыслящих женщин!

«Я его не стою, этого счастья. Я должна уйти, должна оставить его. Я старуха, а он еще молод, хотя мы ровесники. Как глупо и жестоко, что женщины стареют быстрее мужчин! Он встретит женщину, у которой характер не так испорчен годами одиночества. Женщину, которая родит ему ребенка, здорового крикливого малыша. А мне пора завести персидскую кошку и купить себе махровый халат. Я пожилая тетушка. Кстати, пора позвонить племяннику, спросить, собирается ли он сегодня ночевать дома. Нужно приготовить что-нибудь легонькое на ужин...»

Она вспомнила форель по-охридски, которую сегодня не успела отведать. Интересно, как это – по-охридски? Кажется, там был чернослив и чесночком она пахла...

А ведь могла бы каждый день ужинать такой вот форелью, мелькнула у нее мыслишка. Другая на ее месте не стала бы терзаться моральными соображениями, а враз охомутала бы доверчивого олигарха. Он ведь влюблен так, что его можно брать голыми руками, да и впоследствии умная женщина сможет крутить им, как захочет. Нина горестно усмехнулась и снова потянулась к телефону, но тут послышался звук автомобильного сигнала, потом сразу – истошный вопль тормозов, за которым последовал жуткий удар...

И огромные крылья застили ей небо.

...

Не хотелось открывать глаз, в виске больно билась какая-то жилка, выбивала приснившиеся слова: «они должны ответить...», «...он за это ответит...», «она ответит мне за все...». Но кто эти «они, он, она», Ада не знала. Встала у зеркала. Неурочный сон не освежил ее, под глазами пролегла желтизна, недоброе освещение показало рябь на шее, отвратительно дрожали руки. Слишком много кофе, слишком крепкие коктейли, хулиганское курение, эти часы тикают слишком быстро, остановите их кто-нибудь! Ничего не остановить! В футляре антикварных часов Ада хранила шкатулку, источавшую тягучий, болотно-древесный аромат, таившую хрустальную капсулу с экзотическим страшным ядом, привезенным ею некогда с экзотических, страшных и прекрасных островов. В футляре часов хранилась смерть. Впрочем, в ее доме и без того было много смерти, кроме футляра часов, она вороненым зверьком притаилась в сейфе, она дремала под ее подушкой, и птицы несли ее на костяных крыльях из непостижимой дали.

Вздрогнула, словно ее укололи, – в мозг всплыла ледяная иголочка, пронзительная мелодия телефона.

«Ни за что не возьму», – решила про себя Ада, но это звонил дядя Леня, и пришлось взять. Она сразу поняла, что он не просто взволнован, он вне себя, голос его дрожал и пропадал, в нем звучала боль. Ада вспомнила, как однажды, она тогда была еще девчонкой, он точно так же позвонил ей и приказал немедленно уезжать. Машина уже ждала – огромный бронированный крейсер, охранники повели Аду к автомобилю бегом, закрывая ее своими телами. Потом она обвиняками вызнала, что на дядю Леню было покушение и он спасся только чудом. Впрочем, чудо сюда не вмешивалось, за спасение Шортмана была уплачена

вполне реальная цена в две человеческие жизни. Шофер и телохранитель. Шофер и телохранитель.

– Детка, ты слышишь меня? Слышишь меня?

Он всегда произносил слова по два раза в минуты сильного душевного волнения.

– Да, дядя Лёня. Что ты сказал? Повтори, пожалуйста, а то я задумалась.

– Ада, моя подруга попала в автокатастрофу. Она в сто тринадцатой больнице, в реанимации. Съезди туда, пожалуйста, только немедленно, немедленно! Я сейчас вылетаю обратно, а ты пока узнай, что там нужно – лекарства, лучшие врачи, лучшая палата, Ада, пожалуйста!

– Да, да, я все сделаю, – успокоила она его, переводя дух. Всего-то! А она уж перепугалась! – Я уверена, с ней все будет нормально. Еду туда сейчас же. Да, а зовут-то ее как?

– Спасибо, детка! Нина, ее зовут Нина Лазарева!

– Я записала, – спокойно ответила Ада. – Лазарева Нина.

Что ж, бывает. Совпадение позабавило ее. Дурищу тоже зовут Нина Лазарева, не самое редкое имя, не самая редкая фамилия. Ада наскоро оделась и поехала в больницу, остановившись по дороге всего два раза. В первый раз у банкомата – очевидно, немного наличных ей не помещает. Во второй раз – чтобы купить себе энергетический дринк в яркой баночке. Напиток, обещавший невиданный прилив сил, оказался жуткой мерзостью, и его пришлось выбросить, но сладковатый привкус держался во рту до самой больницы. А больница была ужасна, Ада даже не предполагала, что в Москве может быть такая. Нахохлившийся скверик, мертвый снегирь посреди дорожки, серые кирпичные стены, полуразрушенные, источающие запах лекарств и человеческих страданий. На вахте зевает щуплая старушонка, цедит через губу:

– Приемные часы с двенадцати до четырех, бахилы стоят десять рублей. Да куда ты ломисся, куда ты ломисся? Говорят тебе – сейчас нельзя! Этакая недотепа!

Ух, какой Ада устроила ей разгон, всю богадельню на рога поставила! На шум сбежались зрители – больные в пижамах, персонал в мятых халатах. Всем подавай хлеба и зрелищ! Пришел высокий, наголо бритый мужчина в халате поопрятней, чем у прочих, Ада сразу же признала в нем старшего и поймала за лацканы, но поняла – этого нахрапом не возьмешь.

– Больную Лазареву перевели из реанимации в обычную палату. Первая помощь ей оказана, жизнь ее вне опасности. Сейчас она спит, будить ее не стоит. Единственное, что ей нужно, – это покой. Ни к чему так волноваться, сударыня. Ну, легонькое сотрясение мозга, ребро треснуло, царапина на локте... До свадьбы заживет. Это матушка ваша? Хотя, наверное, нет...

– Не ваше дело! – рявкнула Ада.

«Матушка...» «До свадьбы...» Ясновидящий он, что ли?

– Ей ведь, наверное, томограмму нужно делать, а томографа в вашей живодерне нет!

– Есть, есть у нас томограф! – обрадовался невесть чему доктор. – Новенький совсем, в упаковке даже. Недавно прислали. Если вы так настаиваете, мы и томограмму Лазаревой сделаем, хотя в этом нет необходимости.

– И в отдельную палату переведите, – потребовала Ада.

– Да у нее хорошая палата!

– Сколько там народу?

– Одиннадцать коек.

– Вот именно! Я заплачу. Отдельная палата, где она бы лежала одна.

– У нас нет таких палат!

– Найдите.

– Хорошо. Но только завтра, все завтра. Сейчас больной нужен только покой. Сударыня, не могли бы вы меня выпустить из объятий? – Голубые глаза за стеклами очков весело заблестели. – Я, конечно, не против, мне даже приятно, но окружающие начинают

волноваться... Может быть, в другой раз, в более интимной обстановке...

«Юморист». – Ада отпустила доктора.

– Благодарю вас. Приходите завтра, хорошо? Увидите свою больную, удостоверитесь лично, что все в порядке. Только купите у Антонины Семеновны бахилы, и больше никого не хватайте за грудки, а то я стану ревновать. – И подмигнул.

Весельчак доктор не соврал – на следующий день, в шесть часов утра, Нину перевезли в отдельную палату, вернее, в маленькую комнатку, где до этого отдыхали врачи и медсестры.

Открыв глаза, Нина Алексеевна увидела не изможденное желтое лицо соседки по палате – последнее, что она заметила вечером, засыпая под воздействием лекарства, а герани на подоконнике, солнечный лучик на белой стене, занавески цвета яичного желтка и почувствовала легкий запах табачного дыма, к нему примешивался тонкий аромат роз. Розы стояли на тумбочке в трехлитровой банке, рядом пакет с фруктами. Кто принес ей это все?

– Знакомая ваша прибежала с утра пораньше. Вот неумная особа! – словно отвечая на ее мысли, прозвучал мягкий басок. – Ну, как мы себя чувствуем? Голова болит? В глазах мошки не мелькают? Тошнота не мучает? Впрочем, тошнота как раз может быть следствием вашего положения. Повезло вам, что и говорить...

– Какого... положения? – осторожно спросила Нина, скосив глаза на доктора. Доктор был давешний, веселый, голубоглазый. – Сомнительное везение, вам не кажется?

– Отчего же? Сами живы и относительно целы, ребеночек не пострадал...

– Ребеночек? Чей? Я в машине была одна, и никакого...

– Ваш, ваш ребеночек, – укоризненно покачал лысой головой доктор, аж солнечные зайчики заматались по стенам. – Хотите сказать, что ничего не знаете о своей беременности? Гм... Внимательнее надо к себе быть, вы ведь уже не девочка. Месяца три, не меньше.

Ее руки потянулись сами собой и сомкнулись на животе в древнем, оберегающем, охранительном жесте. Чаша жизни, округлая дароносица, надежда и радость будущих дней!

– А ваша-то знакомая, – гудел голос доктора, – все требовала, чтоб вам томограмму сделали. Ну, судя по вашему розовому личику, ничего такого нам не нужно. Моя коллега вас сегодня еще понаблюдает, а я пойду с вашего разрешения домой, покемарю. Устал я с вами.

– Спасибо! А...

Но он уже закрыл за собой дверь, и почти тут же дверь раскрылась снова. На пороге стояла... Вот уж кого Нина не рассчитывала тут увидеть.

– Ада Константиновна, вы... А... Да, я понимаю. Сообщили на службу.

– Ну да, и я сразу помчалась тебя навещать, – хмыкнула невыносимая девица, кидая на тумбочку еще один пакет с фруктами, точно такой же, как и предыдущий. – Я очень добрая и всегда навещаю своих сотрудников по богадельням, это всем известно.

Нина хмыкнула. Да уж, человеколюбие не входило в число добродетелей ее начальницы. Чего ж тогда она притащилась?

– Вот что, дорогая моя, – сказала Ада, усаживаясь на обитый дерматином, опасно попятившийся стул. – Давай-ка поговорим. Тут неожиданно для меня выяснились кое-какие обстоятельства – в частности, что новая подруга моего родственника Леонида Шортмана по совместительству подрабатывает в моем журнале. Судя по выражению твоего лица, ты пребывала в такой же неизвестности, как и я. Что ж, это приятно. По крайней мере, я могу быть уверена в том, что ты не посмеивалась у меня за спиной, на том спасибо. Но все же, милочка, я не вполне уверена в том, что ты – лучшая кандидатура на роль дяди-Лениной жены. Во-первых, ты, уж извини, не первой свежести. С его деньгами он может найти и получше. Второй пункт. Уж прости, но я не верю в твое бескорыстие. О да, я не так уж и наивна. Я догадываюсь, что олигарх не может рассчитывать на бескорыстную любовь, но имеет право хотя бы на иллюзию таковой. А ваша встреча не дает ему такого права. Подумать только – они любили друг друга в юности и снова встретились через много лет! А если б он не был так богат, интересно, встретились бы вы? Я аплодирую твоему мастерству. – Ада пару раз свела ладони в беззвучном хлопке. – Я восхищаюсь тобой и

потому, вместо того чтобы устранить тебя по-быстрому, делаю тебе деловое предложение.

– Я не хочу вас слушать. Я...

– Ой, вот только не надо! Нина, я все же надеюсь, что ты разумная баба и не станешь сейчас вешать мне лапшу на уши. Итак, мое предложение. У меня есть небольшой уютный домик на побережье Франции. Не замок, конечно, но с видом на океан, с хорошеньким садиком... Соседка, толстая бретонка, держит коз. Тебе полезно будет козье молоко. К этому я присоединяю еще и солидную сумму. Что ж ты не спросишь сколько? Тебе будет довольно, чтобы скромно прожить остаток дней своих. Торг уместен. По рукам?

– А если я не соглашусь? – спросила Нина, как русло пересохшего ручья голосом.

– Очень рекомендую согласиться. Подумай сама: ты у дяди Лени не первая и не последняя. Он человек увлекающийся, поверь мне. Я столько повидала его пассий! Как тебе, кстати, браслетик? Не правда ли, у меня есть вкус? Это ведь я его тебе выбирала. Я выбирала подарки всем дядиным симпатиям. Он ведь такой щедрый, даже на прощание делает женщине подарок, чтобы она не держала на него зла! Знаешь, не исключено, что у вас с ним даже до свадьбы дело не дойдет, он, проказник, всегда ловко избегал брачных уз. И останешься ты ни с чем. Поверь, недвижимость во Франции и миллион на банковском счете куда надежнее, чем любовь закоренелого холостяка, у которого в бороде седина, а в ребре бес. Но... У тебя есть выбор.

Из сумочки Ада достала деревянную шкатулку, источавшую вязкий древесный запах, из шкатулки – узкую бутылочку с бесцветной жидкостью.

– Это яд. Вот твой выбор. Это самый страшный, самый смертоносный яд из всех существующих на земле. Его продали мне в Алжире. Он не имеет ни вкуса, ни запаха, убивает мгновенно, не оставляет в организме следов. Даже если твоя внезапная смерть вызовет у врачей недоумение и они затеют вскрытие... Все решат, что ты умерла от остановки сердца. Я предложила тебе жизнь, в которой есть все, кроме Шортмана. Но если эта жизнь не дорога тебе – пей. Докажи, что не хочешь без него жить.

Нина протянула руку и приняла в теплую впадинку ладони флакончик с ядом. Пробка упруго поддалась ее ногтям. Это было как во сне. Это было как в воспоминании, которое до поры скрывается где-то глубоко-глубоко, прячется, утаивается, послушно забывается, а потом... «Что я делаю?» – заполошно подумала она вдруг, но сразу успокоилась. Она все делала правильно и успела подумать еще только: «Прости меня, малыш».

А потом она выпила.

Выпила, и откинулась на жидковатую подушку, и решила, что смерть на вкус даже приятна. Во рту зажегся огонь, по телу разлилось тепло... А это что за звуки?

Она приоткрыла глаза. Ада все так же сидела на дерматиновом стуле и тихо смеялась.

– Я в тебя всегда верила, – доверительно сказала она своей жертве. – Это не яд. Хотя я в самом деле купила флакон и шкатулку в Алжире. Подлец торговец надул меня. Сегодня ночью я дала отведать этой дряни своей собачке Хризантеме. Она опьянела. А ты – ты молодец. Я буду рада, если дядя Леня все же на тебе женится. Можно тебя обнять?

Но Нина сама ее обняла и погладила по голове:

– Дурочка ты, дурочка...

Ада все смеялась. Но вдруг с удивлением поняла, что плачет. И тогда она вскочила и выбежала из палаты, потому что ни одной дурище не дозволено видеть, как она плачет, хотя бы и будущей жене самого Шортмана.

В больничном скверике горело солнце – на ледяном глянце тропинок, на покрытых инеем ветвях деревьев. Мертвый снегирь за ночь стал хрустальным. По скользкой тропинке, балансируя руками, навстречу Аде шел Сергей. Она увидела его сквозь радугу слез и подумала вдруг, что он-то ради нее не выпил бы яду, что он не любит ее, но врет ей и будет врать до тех пор, пока она сама не оборвет эту ложь... И она нащупала в кармане пальто, крепко сжала костяную, горячую рукоятку ножа.

– Ада... Почему ты здесь? Ты плачешь? Что случилось?

– Что-то попало в глаз, – сказала она, не сводя с него тяжелого взгляда. – А ты? Ты что

здесь делаешь?

– Мне надо поговорить с тобой, кое-что сказать, – бормотал он, не слушая ее. – Я всю ночь думал об этом...

Он думал не только о том, что не любит больше Аду, не только о том, что нужно перестать ее обманывать, но и переживал другую ложь. Накаркал несчастье с Ниной! Суровый урок!

– Но здесь, наверное, не место, не время.

– Отчего же, – усмехнулась она, – тут так безлюдно. Присядем на скамейку. Ну?

– Ты не замерзнешь?

– Нет. Говори.

– Ада, ты очень хорошая. Ты удивительная. Я не думал... не знал даже, что такие женщины бывают. Но я... Я тебя не стою, правда. Я тебе не подхожу. Ты прости меня.

– Погоди-погоди... Ты что, меня не любишь?

– Не люблю. – Он виновато понурился.

– И что – хочешь бросить?

– Ада, я...

– Попрошу без церемоний! Бросаешь меня, да?

– Д-да...

– А я ведь тебе телефончик подарила, – с непонятным Сереже весельем заметила Ада. – И тряпки. И часы. И машину подарю. А?

– Я... Спасибо тебе. Я все верну. Вот, возьми телефон и часы, Адочка, ты прости меня...

– Да не суй ты мне в руки всю эту ерунду! – прикрикнула она на него и вдруг ловким жестом надвинула ему на глаза черную вязаную шапочку. – Эх ты, балда! Очень ты мне нужен! Па-адумаешь! Мне, может, уже другой нравится!

И побежала по замерзшей аллее вприпрыжку, как девчонка.

– Удивительная, – пробормотал Сережа из-под шапочки. И, глядя ей вслед, подумал еще, что совсем не знает женщину, которая убегает от него по обледеневшей тропинке больничного сквера, что в Аде случилась мгновенная перемена... И это совсем другая Ада – повернувшаяся к свету, сбросившая какой-то страшный груз со своей изломанной, но прекрасной души. Ада возвращенная, обновленная, юная, Ада счастливая. Но ее уже было не вернуть, не окликнуть потерянного счастья по имени!

А потом Сережа встал и пошел к тетке, которую вчера угораздило попасть в аварию, но, слава богу, она легко отделалась, завтра, наверное, уже выпишет.

В тот день Ада потеряет где-то свой талисман, костяной резной нож.

Через много лет она будет говорить голубоглазому, лысому доктору, который станет ее мужем:

– Ты пригласил меня на свидание в тот день, когда я потеряла свой нож. Повел в кино на какую-то тупейшую комедию, а сам заснул, потому что был с дежурства...

– Ничего я не заснул...

– Ты спал и даже храпел, и все на нас оборачивались!

– Допустим. А что за нож?

Но этого Ада уже не вспомнит.

В тот день состоится еще два свидания.

Сережа, например, после больницы пойдет в театр и там встретит однокурсницу Катю. И она посмотрит на него такими сияющими глазами, что он поймет: давешний розыгрыш был вовсе не насмешкой...

А Шортман придет за Ниной и вырвет ее из рук протестующего медперсонала. Повезет ее к себе домой, чтобы она никуда уже не делась. А по дороге Нина скажет ему на ухо что-то такое, отчего он вдруг радостно запоет во весь голос «Хаву Нагилу», перепугав даже выдавшего виды телохранителя...

А в это время и всегда, над ними, над нами, будет парить в темном небе хищная птица,

высматривая тех, кто живет без любви.